

The background of the cover is a digital illustration. In the foreground, a young boy with dark hair and a somber expression looks towards the viewer. Behind him is a large, white, skeletal structure resembling a giant skull or a massive, hollowed-out object, possibly a ship's hull, set against a bright, cloudy sky. The overall color palette is dominated by blues, teals, and greys, creating a somber and dramatic atmosphere.

**АЛЕКСАНДР КУПРИН**

**СОБЫТІЯ В  
СЕВАСТОПОЛЕ**

**Литрес** 

# Александр Иванович Куприн

## События в Севастополе

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=18662341](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18662341)*

*События в Севастополе / Александр Куприн.: Эксмо; Москва; 2016*

*ISBN 978-5-699-73185-5*

### Аннотация

А.И. Куприн (1870–1938) – один из самых известных прозаиков XX века, реалист, мастер психологического анализа. В книгу включены произведения, события в которых происходят в Крыму.

«Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно бегаёт между Ялтой и Алупкой, пыхтя, как зарывшая собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями...»

# Содержание

Белый пудель	5
Угар	54
Брильянты	58
Пустые дачи	63
Памяти Чехова	68
События в Севастополе	114
Гамбринус	121
Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)	160
О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай»	167
Лавры	173
В Крыму (Меджид)	182
Леночка	195
Листригоны	212
I. Тишина	212
II. Макрель	217
III. Воровство	223
IV. Белуга	230
V. Господня рыба	238
VI. Бора	243
VII. Водолазы	249
VIII	274
Винная бочка	282

Гусеница	301
Шторм[10]	313
Сильные люди[11]	315
Гранатовый браслет	328



**Александр  
Иванович Куприн  
События в Севастополе**

**Белый пудель**

**1**

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль Южного берега Крыма

маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плелся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать – сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор, пока ей вдруг

не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Что поделаешь?.. Древний орган... простудный... Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орган к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник...» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст и еще покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий: точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

– Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного

больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душой, и мелкими житейскими интересами.

## 2

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извинаясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизилия и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

– Ты что, Сережа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпения!

Искупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.



– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что, брат песик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки... Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться... А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и

полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканые виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посреди-не. – Дедушка, а персики! Вона сколько! На одном дереве!

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шуточно старик. – погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь глядевши... Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами... Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.

– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

– Страшные поди... эфиопы-то эти?

– Как тебе сказать? С непривычки оно точно... опасаться немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее... Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехавши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорожку, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек... Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради... Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятак стыдно... ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки... Я

ведь не обижаюсь, я ничего... зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители ит. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник

на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а... Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать... А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача «Дружба», посторонним вход строго воспрещается», – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

### 3

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом

и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесучовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны.



Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте... Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться...

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..

– Послушайте, Трилли, будьте же женщиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак, драть его будут?

– Ну вот, драть... Такой сам всякого посекает. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедчий? – догадался Сергей.

– А я почему знаю. Тише!..

– Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с

ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, разрешите вам объяснить... – начал было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!

– Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите

же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Пет!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суэта на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопы Сергей разо-

стлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам

несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истошив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к бабушке, чтобы заметить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на бабушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почему знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но бабушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так... – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись... Еще, еще... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом

недовольном лае.

– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, языкто высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль... Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе преподарят что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-

аку-у...

– Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о... вообще...

– Соба-а-аку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да



подойдите же ближе, еще ближе... еще, вам говорят!.. Вот так... Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребенка... Доктор, прошу вас... Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо... Чай, сами старичка не обидите...

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша*, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть... простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый... Сразу-то мне не понять... к тому же и глуховат малость... то есть как это вы изволите говорить?... За собаку?..

– Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик. Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пес, сударыня, можно сказать, нас

двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, чтобы, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Исту-ка-н... Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу... Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только... – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливо оставаться... Сергей, иди вперед!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, каналы!

– Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубаше со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшественные изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодарите еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал.

А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите

на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну и денек сегодня задался. Удивительно!

– На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженьх в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце, паруса рыбацких лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по го-

лому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».

– Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по

земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубашке с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую трупку с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

– О-го-го!.. Подождите трошки!..

– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки.

– Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись... И что это за люди, прости господи...

– Вы вот что... – начал запыхавшийся дворник еще издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычем. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку...» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста... я тебя прошу... уйди ты от нас, Христа ради... и того... и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак-человек...

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой...

Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

– Бреши дальше... Я потом тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды... Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательски завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный<sup>1</sup>. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у

---

<sup>1</sup> Сумасшедший – малороссийское слово. – Прим. А. И. Куприна).



нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу...

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот... тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй... сам лучше скушай... этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... То за сколько бы ты его примерно продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовью низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – весело ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

## 5

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестящей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных

турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

– Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов,

которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крикнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду пил... с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно заворачивал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные...

В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... все электричество горит... Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше... почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия

Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слышал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубашке, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто... куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

– Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик.

Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

– Ну, что там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел?

– Сережа... что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

– Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал де-

душка, все еще сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное... Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза бабушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

– Что делать, что делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, бабушка Лодыжкин, пойдем!..

– Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, поднимаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.

– К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому... – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому... да... Только вот что, Сереженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы

смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Сережа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасаясь. Слышал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения... Наконец, вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаясь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко... Собака-то уж хороша очень...

– Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеет полное право чужих со-



бак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «По-давай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыж-кин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один бог его ведает. Почем я знаю, может, во-ришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Сережа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сер-гей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.

– Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная... Артошень-ка-то наш... Другой такой не будет у нас...

– Ладно, ладно... Вставай, – распоряжался Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое зна-чение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не на-стаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на ми-

ровом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

– Будет тебе, пойдем, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки-каменотесы, землекопы-турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

– Ты куда носью ходишь, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сер-

гей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую, с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бесильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, — лишь кое-где изредка вспыхивали ее блески, — и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

– А все-таки я полезу! Все равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками

опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обесилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубашке, подыметесь крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными сна-

ми. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.

– Только не в доме... в доме ее не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест...

Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно, предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном

окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых, маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум слышался где-то внизу, но тотчас же затих.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачу-



щим голосом мальчик.

– Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.

– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю

ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое

равнодушные ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, – оба сильные, ловкие, точ-

но окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа.

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:

– И сто ти се сляесься, мальцук? Сто ти се сля-есься? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валившихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться,

облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

*1903*

# Угар

Ночь... Спящее море... Расплескался по необъятному простору золотой блеск луны и ходит и мерцает, точно живой... У самого обрыва, на скамье, два черных тонких силуэта, мужской и женский, тесно прижались друг к другу. Спят старые деревья. Дремлют в море белые ленивые паруса. Крепко и свежо пахнет с моря.

Какая ночь!

А мы вот сидим в большом зале кафешантана, сидим тесно, столик к столику, плечо к плечу, спина к спине. Нагло, назойливо и равнодушно бьет в глаза свет электрических фонарей. Из кухни плывет сытый, жирный запах жареной рыбы, и кажется, что это он сгустился над нами таким тяжелым синим дымом.

– Я тебе русским языком говорил, болван: как только освободится кабинет, приди и доложи мне!..

Красные лица, потные лбы, глянцевиные щеки. Запах и жар человеческих тел, скученных в узком пространстве без воздуха, ужас тел, нагроможденных друг на друга. Быстро вянут цветы и уже теперь похожи на грязные, мертвые тряпки.

– Э-э, как вас? Распорядитель... администратор... режиссер... все забываю вашу фамилию... Нет ли новеньких анекдотов?

– Извините, ваше-ство... пока еще нет...

– Н-да-а-с... Ну идите себе. Скучно у вас...

Хохот, крики, пение... Смотрите, смотрите внимательней. Те, что улыбаются, сами чувствуют свою улыбку на губах, чувствуют, точно чужую прилипшую маску. В глазах мертвая, глупая тоска. На нас смотрят. Будем неестественно веселы, фальшиво развязны, громко остроумны, неправдоподобно пьяны, по-княжески щедры – на нас смотрят, и нас слушают. Будем веселиться. О, какая тоска!

– Тра-та-та, тра-та-та.

Эльская-Майская! Бра-аво! Валяй, Манька, «Червячок»! Слушайте, она будет петь «Червячка». Бра-а-во!

Ритурнель. Женщина на эстраде, дожидаясь такта, поправляет на набеленных плечах узенькие розовые перемычки. Раз, два, три.

На мне веселый тувал

Я знаю много шиншанеток...

Жесты: обе руки влево, обе руки вправо, руки вперед к публике, обе руки к сердцу, воздушный поцелуй обеими руками, честь по-военному, тоненькие усики, маршировка.

Это как будто само по себе, независимо от текста. Бедная женщина! Отчего ты не осталась честной миловидной прачкой с красными руками или хорошенькой лукавой горничной в белом переднике, сияющем чистотой. Какой злой и на-

смешливый дух толкнул тебя на подмости?

Я старичков почтенных обожаю  
Они милы все сердцу моему.

Да-с, вот он сидит, этот старичок. Он совсем разомлел от жары и бессильной похоти и только лишь изредка, по административной привычке, нет-нет – кинет вокруг себя неожиданно строгий взгляд. Приглядитесь внимательней! Вот еще господин – в белом жилете, с брелоком, взлохмаченный, с воспаленными жалкими и растерянными глазами. Теперь он на все махнул рукой и утонул в пьяной, угарной любви. Сегодня ночью он будет плакать на чьей-то увядшей и накрашенной груди и будет лепетать горькими, бессильными губами о своей младшей дочери. Вот юноша. Он в первый раз здесь. Вы видите, как нервно вытягивает он манжеты своей сорочки и старается притвориться привычным завсегдатаем. Но в глазах его горит нездоровый, лихорадочный свет...

Но большинство равнодушно. Это привычные гости, которых здесь знают по именам и шутивным прозвищам. Странные существования. Паразиты, прихлебатели, игроки, содержанцы, неизвестно кому принадлежащие бритые лица, коммивояжеры, биржевые зайцы, сводники, прекрасно одетые жулики. Мертвая скука! Пресыщенные люди уже не воспринимают самых острых впечатлений и безучастно, как объевшиеся коровы, пережевывают их. Женщина идет через



сцену на руках – скучно! Женщина делает безобразный жест – скучно! Кэк-уок, в котором люди, вывернувшись самым неестественным образом, кривляются задом наперед, – надоело! Все надоело. Лица растянуты судорожным смехом, но в глазах зияет нестерпимая, доводящая до одуренья тоска...

Нечем дышать. Выйдем лучше на воздух. О, как благоухает ночной воздух на побережье! Это море дышит вам в лицо своей бодрой грудью. Луна взошла. Бежит через все море, до горизонта, дробясь, сверкая зыбучими блесками, играя темными волнами, золотая дорожка. Внизу лежат мокрые, черные камни.

Чистое небо. Море...

*1904*

# Брильянты

Южный вечер – жаркий и темный. Запыленные акации над горячим асфальтом тротуаров лениво просыпаются от тяжелой дневной дремоты. Нарядная толпа стремится двумя непрерывными потоками туда и обратно.

В одном месте образовался водоворот. Подходят, останавливаются, теснят друг друга, задерживают, сгущают общее движение и отходят прочь. Уходя, бросают последний, прощальный взгляд... Быстрый, тревожный взгляд.

Но другие подолгу стоят здесь, опершись грудью и локтями о круглую железную палку, ограждающую зеркальное стекло магазина, стоят, с бледными лицами, с широко раскрытыми, неподвижными глазами.

На белых плюшевых щитках, ряд над рядом, освещенные скрытыми рефлекторами, горят разноцветные капли огня. Как радуется, как очаровывает наш глаз в ночной темноте их волшебный блеск!

В середине два брильянта, каждый величиной с лесной орешек. Их граней, их очертаний не видно. Это не камни – это два странные таинственные огня. Они горят, дрожат, играют, переливаются, смеются тысячами неуловимых, сияющих, лукавых улыбок, и манят, и обещают, и обманывают...

Вот блеснул синий сноп лучей. Такого цвета не бывает ни на небе, ни в море: бывает только в раннем детстве, когда

слушаешь сказку. Блеснул, затрепетал и скрылся, и вот уже льется оттуда, точно кровавое вино, точно зарево огромного пожара, точно безумная, пьяная радость, красный торжествующий огонь. Но – мгновение, незаметный поворот головы, сотрясение мостовой под экипажем, – и загорелось зеленое сияние, тихое, глубокое, загадочное, похожее на мерцание июньского светляка в густой траве. Еще миг – и заструился веселый золотой свет солнца, и вдруг заметались, заплясали все цвета радуги...

Ах, человеческие лица! Сосредоточенные, хмурые, бледные под этим отраженным, рассеянным, матовым светом – как много говорят они печального, и злого, и глупого! У женщин хищно раздуваются ноздри, и зубы влажно блестят из-за полураскрытых губ. Их теснят, толкают, но они не чувствуют этого, обвороченные чудесным блеском, увлеченные одним стремлением.

Юноша и девушка. Оба стройные, гибкие, красивые. Может быть, они только что тайно встретились в условленном месте – встретились с волнением, с нежностью, с прелестной боязливостью.

Кто-нибудь из них опоздал на свиданье. Была сцена притворной холодности, ревности, вражды сквозь неудержимые, ласкающие, шаловливые улыбки. И вот они стоят здесь, забыв друг о друге, загипнотизированные лукавой игрой брильянтов, ушедшие в странные, нездоровые грезы.

Жена с мужем. Старик. Беременная женщина. Двое юр-

ких, прекрасно одетых пройдох с голодными глазами. Посыльный, задержавшийся впопыхах на секунду. Кокотка. Жена с мужем. Нет, впрочем, это не муж и жена... но все равно они забыли, потеряли, не чувствуют друг друга, хотя их руки еще соприкасаются.

И во всех этих лицах, во всех этих глазах, которые на минуту становятся бесцветными, бездонными и лживыми, я читаю одно и то же жадное слово:

Если бы!

Если бы чудо?.. Если бы найти на улице?.. Если бы чья-то неожиданная сказочная щедрость?.. Если бы... Если бы украсть, но так, чтобы никто никогда не знал об этом?..

Кто знает, что оказалось бы в лучших душах человеческих, если бы можно было незаметно проникать в них и наблюдать их самые тайные, самые скрытые изгибы? Сколько столпов, сколько твердых мужей, сколько честных граждан оказалось бы ворами, убийцами, прелюбодеями? И кто может сказать непоколебимо, что страшней – мысли или дело, и где их границы?

Самое странное, смешное, нелепое, необыкновенное в мире – это людские условности. Вот лежат два кусочка сгущенного углерода, два кусочка угля, две блестящие побрякушки. Но в них, как в фокусе, сосредоточены: богатство, роскошь, почет, женская любовь, власть...

Так сложилась жизнь, так условились люди.

Особенно власть. О, как понятно мне, почему самые про-

славленные историей, самые кровожадные тираны человечества были в то же время такими тонкими знатоками, ценителями и собирателями драгоценных камней! Для них, пресыщенных всеми крайними формами власти и наслаждения, драгоценности являлись жгучими, но пока еще сокрытыми символами дальнейшего бесконечного расширения их личности. Это была та же огромная, страшная власть одного над миллионами, но власть, чудесно сконцентрированная в маленьком предмете, который мог поместиться и в кулаке. Это была власть в потенциальном виде.

Из-за драгоценных камней велись кровопролитные войны. Земные владыки нелегко расстаются с этими маленькими вещицами. Подобострастная история сохранила нам анекдот о том, как улыбающаяся царица Клеопатра выпила, растворив в бокале вина, жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Но, вероятно, никто не знает, что случилось сейчас же после этого безумно-великолепного пиршества.

Случилось же вот что.

Возвратясь с пира в свою опочивальню, Клеопатра приказала раздеть себя. Нубийская рабыня неосторожно прикоснулась рукой к обнаженному плечу царицы, и царица в порыве гнева вонзила в ее черную грудь острую головную булавку. Когда же рабыня застонала, Клеопатра воскликнула в ярости:

– Не смей кричать! Дура!

В это время евнух, стоя почтительно на четвереньках, благоговейно напомнил императрице о судьбе пленного грека-философа. Прежде у Клеопатры был тонкий замысел: устроить с этим ученым публичный диспут в присутствии высоких римских гостей и, показав себя во всем блеске ума и красноречия, великодушно возвратить пленнику свободу. Но теперь, огорченная потерей многоценной жемчужины, она закричала с раздражением и со слезами в голосе:

– Что ты ко мне пристаешь с глупостями! Удушить его!

*1904*

# Пустые дачи

О как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Было в ней что-то напряженное, и страстное, и нежное, и болезненное, как в последней ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре?

Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина, – тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех.

Кто-то произнес мечтательно и грустно:

– Это последняя ночь лета. Последняя ночь... Помню: я тогда поглядел направо, на юг. Там – от земли до полнеба – сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зарницы. А под ними простирались кроткие усталые поля и черные холмы, и редкие деревья стояли, как черные, печальные призраки.

И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой, невидимый, всезнающий, же-

стокий и веселый, – лежит молча, на животе и на локтях, лежит, подперев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, с злобной радостью улыбается он чему-то идущему и молчит, и молчит, и лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми молниями...

Потом сразу стало холодно. Поднялся ветер с востока.

Мы ушли.

А под утро с моря, из-за той вон далекой прямой черты, оттуда, снизу, вырвалась буря – вся черная, в белой косматой пене. В страхе шарахнулись волны на берег, в ужас заметались деревья, простирая в одну сторону дрожащие бессильные руки, и наш дом до утра трясся под напорами ветра.

Что делалось тогда на море! Там грохотали тысячи нагруженных телег, шумел лес, взрывались скалы, кто-то в ярости рвал пополам исполинские куски шелка... А когда мы проснулись, была осень.

Так началась осень...

И вот я еду сегодня на велосипеде по узкой извилистой дорожке парка. Хрустит и взвизгивает гравий под колесами. Левая сторона лица моего обращена к солнцу, и ей тепло, а правой холодно.

По бокам дорожки – плотные, мелкие кусты. Сквозь них теперь сквозит небо и кажется таким густым, таким невероятно синим. Все стало просторно, голо, неряшливо и неуютно, точно знакомая комната, из которой вынесли мебель. Шелестят серебряным звуком коричневые, скоробившиеся



листья.

Гимназистом я однажды через две недели после летних каникул вернулся на дачу, где провел три месяца. Было все пустынно, тихо, глухо и грустно. О, как хорошо помню я эту задумчивую грусть, эту сладкую медленную тоску, от которой, как от вина, сжималось сердце и кружилась голова! «Все, что прошло, – думал я, – все осталось в моей памяти, оно – мое, во мне, я могу его вызвать силой воображения. Но ничто, ничто не вернется больше! Ни одна черта!»

Так я думал тогда, но теперь моя душа не воспринимает уже более этой поэтической, нежной печали: в ней бессильно и горько шевелится только грусть по прежней грусти. Плачет беззлобная, смирившаяся зависть...

Оставленные пустые дачи. Окна криво забиты снаружи досками. Кругом сор – тот сор, который всегда остается от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический осенний запах... Здравствуй, осень моей жизни!

Вечером к нам на балкон приходят чужие брошенные голодные собаки. Они тихо, без волнения жмутся к ногам и робко заглядывают в глаза просящими, испуганными глазами. Они останутся здесь на зиму. Мне страшно думать о тех лютых ночах, когда они будут дрожать от холода и ужаса, в снегу, под занесенными балконами... Море ревет в эти ночи, и деревья стонут от ветра, и кругом не горит ни одного

огня... Бедные, ласковые друзья, что вы будете чувствовать, кому вы будете жаловаться в эти ночи?

По праздникам к нам уже не наезжают нарядные парочки, которые ходят, обнявшись и колеблясь от любви и оттого, что не смотрят на дорогу, а на небо или в глаза друг другу. Зато приезжают мрачные люди, с галстуками на боку, с растерянным взглядом и ходят в одиночку по глухим местам у моря и в парке.

Гравий шуршит под гуттаперчей колес. Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щеку. Вот еще одно место. Здесь я встретил одну девушку. Она была мне незнакома, и я потом не встречал ее больше. Из глаз ее лился снопами голубой свет, в котором было все: радость жизни, восторг молодости, сияющее счастье первой любви. Помню, я улыбнулся, и она ответила мне – она улыбнулась так лучезарно, так эгоистично-виновато, так прекрасно-легкомысленно. Она прошла дальше. Я оглянулся. Она не шла, а точно танцевала, не касаясь ногами земли, как мотылек, опьяненный светом. И мне захотелось упасть на землю и целовать те места, на которые ступали ее белые туфли. Почему? Я не знал этого...

А вот старая гнилая скамейка. На ней вырезаны чьи-то имена и девизы. О, милая!

Здравствуй, моя осень. В моем сердце не осталось даже

грусти. Но я благословляю и ветку, и девушку, и море, и холодное небо, и печальные последние георгины...

*1904*

# Памяти Чехова

*Он между нами жил...*

Бывало, в раннем детстве, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет – и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью,

что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, – ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

– Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писате-

лей.

К любви, к нежной и топкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

## I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, – она походила бы на здания в стиле *moderne*, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало отделенное низкой стенкой старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблонь-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Анто-

ну Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи, наконец, шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

– Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? – прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. – Знаете ли, через триста – четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь

будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда, по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытимого человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, – он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоск-



ливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

– Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П.-чу постановку его пьесы. Обоиими предметами Чехов чрезвычайно дорожил, и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили по-

следние дни незабвенного художника.

## II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелеховских таксах Броне и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светлошоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивал-

ся на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

– Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

– Ах, ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?... Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А. П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырёх, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожи-

лым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался, – слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, – и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительно-го, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел браваый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил

бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, – рассказывал мой знакомый. – Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

«Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты – вот кого ударил!»

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, отдельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, – лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

### III

Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери – большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным

оконцем; в нише – турецкий диван. С правой стороны, по середине стены – коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, незаделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами – это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу – дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, – светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета – в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо – шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шхуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты – Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади гро-

моздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, – тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А. П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале «Лондонской» гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, – слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное – в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, – именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувство-

вал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков – словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь назад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот – удивительно – каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.



Обращал внимание в наружности А. П. его лоб – широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека – у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:

– Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, – пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда – небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

#### IV

Вставал А.П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно оде-

тым; также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных, широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры – и Бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи: являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот

большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота – и настоящая и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, – надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от

звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу – прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А.М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А.М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

*А. Чехов».*

Странно – до чего не понимали Чехова! Он – этот «неис-

правимый пессимист», – как его определяли, – никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

– Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отозвался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят

не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведенному делу.

Дело же заключается в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П., – заключил свой рассказ архитектор, – я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это – случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию – и что бы тогда вышло?» – «Да, все это очень прискорбно, – ответил Чехов, – но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы». – «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, – обрадовался архитектор. – Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя – вы и господин П.» (И тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика.)

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

– Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также, – и это, каюсь, отчасти моя вина, – как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, рес-

ницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

– Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

– Почему так?

– Смешно очень. Все врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило.

А однажды он с самым серьезным лицом сказал:

– Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорит: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

## V

В час дня у Чехова обедали внизу в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой про-



стой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом – удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискренного и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

– А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

– Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или

у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили знакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А.П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, – «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении.

Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью

его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам – полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высоту от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех, забывавших о нем, своей неподвижностью.

– Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, – признавался Чехов. – А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

– А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая мас-

са посетителей, – жаловался он в одном письме, – что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

– У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А.П. Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда – но год от году все реже и реже – воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным, юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

– Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих день-

гах?

Придумывал он удивительные – чеховские – фамилии, из которых я теперь – увы! – помню только одного мифического матроса Кошкодав-ленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, – Бунин мой сверстник, – уверял он с напускной серьезностью, – Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же, как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уж все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время, или разбирался в своих памятных книжках, заноса впечатления дня, – это, кажется, не было никому известно.

## VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

– Только спаси вас Бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е.Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по несколько лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены

знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, – говорил он как-то, – то уж не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа – работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражающие неожиданностью, совсем не идущие к разговору, вопросы, которые так смущали многих.

Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи, и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлял оживленно:

– А ведь никто не догадывается, что самое характерное



в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем – это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

– Знаете, Москва – самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом С-ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих – их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба Божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба Божия Михаила, раба Божия Михаила...» А сам в Бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не совсем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бро-

дьяга как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным, интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не ндравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара «Дружка», страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, – говорил А. П., весело улыбаясь, – в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: «Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в «Палате № 6?» – «Ну да, оттуда», – ответил А. П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные пла-

тъя, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеал», «принципально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тонкие «нервные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если б все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, – только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он *искал*, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть часто против желания, в силу давно изощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Так чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он отчасти нарочно, отчасти инстинктивно употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А. П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его *кажущегося* безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпренными словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

## VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной мало-

значительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», – он отвечал спокойно и серьезно:

– Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, – и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я вверху, – говорил он со своей очаровательной улыбкой. – И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Читал он удивительно много и всегда все помнил, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая, критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», – говорил он в таких случаях грубоватым и задушевым голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности

по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого:

«Дорогой N., повесть получил и прочел, большое вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А. П. другое письмо:

«Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них, – ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружностей – опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках; больше уже ничего придумать не могу».

К тем писателям, с которыми у него возникала хоть ка-

кая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

«Дорогой N., – писал он одному знакомому, – сим извещаю вас, что вашу повесть читал Л.Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему».

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что в «Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались, наконец, и Вы. Так, на странице такой-то и т. д.».

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

– Пишите, пишите как можно больше, – говорил он начинающим беллетристам. – Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное – не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого

необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

– Слушайте: ездите почаще в третьем классе, – советовал он. – Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

– Не понимаю, отчего вы – молодой, здоровый и свободный – не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

– Отчего вы не напишете пьесу? – спрашивал он иногда. – Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен на-



писать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, – говорил он. – Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А. П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, – доказывал он, – а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот, спустя час, кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и между прочим упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из «Паяцев»? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты

будешь свистать? Так знай же, что сцена – тот же храм!»

После этого рассказа А. П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена – это храм?..» И записал весь анекдот.

В сущности, даже и противоречия во всем этом не было, и сам А. П. потом объяснил это. «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы – это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку – иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

– В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, – говорил он молодым писателям. – Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? *Это* называется – произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких *штучек* не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и остряли, бывало: «Эх, вы, Чехо-вы!» Должно быть, это было смешно.

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, – говорил он решительным тоном. – И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И, знаете, кто сделал такой переворот? Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, – они все здоровые мужики. Но писать – мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленец. «Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, – все равно, какое

придет в голову, – и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире – это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушным к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, – рассказывал он, – я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любит на них. Так – нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

## VIII

Сын Альфонса Додэ в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полусхутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяже-

лые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым не любя, ласковым и участливым – без привязанности, благодетелем – не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А. П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов двадцать, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. Двадцать часов – это обыкновенный *maximum* для первых родов».

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что, когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А. П. ответил спокойно, даже рав-

нодушно:

– Да ведь когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. *Все равно – и там такая же радость.*

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке – в его лице, голосе и походке – то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

– Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, – сказал он, волнуясь и покашливая. – Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жесткость и как часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

## IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...» «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...» «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...»

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было – кровь шла», – скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

– А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

– Видите ли: пока у человека хороши легкие – все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!»<sup>2</sup> И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые ли-

---

<sup>2</sup> Я умираю (нем.).



пы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

– Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе – и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастья которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

# События в Севастополе

Ночь 15 ноября. Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет. Вкратце: матросский митинг, выстрелы в Писаревского и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев, – Шмидт подымает на «Очакове» сигнал: «Командую Черноморским флотом», великолепно-безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батареей в баржу, подходившую к «Очакову» с провиантом. Но должен оговориться. Длинная, по-жандармски бессмысленная провокаторская статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в «Крымском вестнике», набиралась и печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем не хватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьей. Путь верный: подпись льстит авторскому самолюбию.

Мы в Балаклаве услышали первые звуки канонады часа в три-четыре пополудни. Сначала думали, что это салюты в честь монарха или кого-то из его августейшей семьи. Но вы-

стрелов было слишком много, более сорока. К тому же вскоре показались первые извозчики из Севастополя с колясками, наполненными людьми, одуревшими от ужаса. Говорили смутно и бестолково, что на «Очакове» пожар, что несколько судов потоплено, что из морских казарм стреляют из пулеметов.

Мы вдвоем поехали в Севастополь на обратном извозчике. Это был единственный извозчик, согласившийся вернуться в город, объятый пламенем революции. Надо прибавить, однако, что там у него осталась семья.

Вскоре стемнело. Нам навстречу беспрерывно ехали коляски, дроги, телеги. Чувствовалась уже за пятнадцать верст паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с колесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь. Справа от нас над горизонтом по черному небу двигались беспрерывно прямые белые лучи прожекторов, точно световые щупальца.

Мы окликали, спрашивали. Ни один из беглецов не отозвался. Извозчики отвечали бессмысленно и неопределенно:

– А там пальба идет.

Или:

– Там все друг друга постреляли.

А один сказал с зловещей насмешкой:

– Поезжайте, поезжайте. Сами увидите.

Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели дым от огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете клубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно вымер. Встречались только отряды солдат.

Когда при въезде против казарм поили лошадей, то узнали, что действительно горит «Очаков». Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

С Приморского бульвара вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера – сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов «Ростислав», «Три святителя», «XII Апостолов». Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете этого пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным.

Великое спасибо Горькому за его статьи о мещанстве. Такие вещи помогают сразу определяться в событиях. Вдоль каменных парапетов Приморского бульвара густо стояли жадные до зрелищ мещане.

И это сказалось с беспощадной ясностью в тот момент, когда среди них раздался тревожный, взволнованный шепот: – Да тише вы! Там кричат!

И стало тихо, до ужаса тихо. Тогда мы услышали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

– Бра-а-тцы!..

И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие, черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать. Но, успокоившись, возвращались

снова.

Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие – литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

– Ведь это, голубчик, люди горят!

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

– Господи Боже мой, Господи Боже мой.

И было в них во всех заметно темное, животное, испуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

И вот и к ним, и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но и что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

– Это еще что-о, братцы! А вот когда дойдет до носа – там у них кают-камера, это где порох сложен, – вот тогда здорово бабахнет...

Но в ответ – ни обычной шутки, ни подобострастного слова. Солдаты повернулись к нему спиной.

А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный далекий крик:

– Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвав-

шийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам. И вот теперь-то я перехожу к героической жестокости адмирала Чухнина.

На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с «Ростислава», «Трех святителей», «XII Апостолов» – надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами; начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков. Что бы ни писал потом адмирал Чухнин, падкий на литературу, – эта бессмысленная жестокость остается актом, подтвердить который не откажутся, вероятно, сотни свидетелей.

А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на баптне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали «Очакову» шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от «Очакова», стреляли картечью. Что бросавшихся впласть расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость.

Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности,

неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

По официальным сведениям – две или три жертвы. Хорошо пишет литературный адмирал Чухнин.

О травле против жидов, социал-демократов, которая поднялась назавтра и которая – это надо сказать без обиняков – исходит от победоносного блестящего русского офицерства, исходит вплоть до призыва к погрому, – скажу в следующем письме...

Настроение солдат подавленное. Хотелось бы думать – покаянное.



# Гамбринус

## I

Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и, только пройдя две-три соседние лавки, возвращался назад. Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней, избитых и скривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиною приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки, но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого со-

мнения, что перед посетителем – сам великий патрон пивоварения.

Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и ночью, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стеной живописи. На одной картине пиновала большая компания немецких молодчиков, в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревиными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а двое при этом еще обнимали за талию двух дебелих девиц, служанок при сельском кабачке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стене изображался великосветский пикник времен первой половины XVIII столетия; графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, – пруд с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохлацкой хаты и семью счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, два безобразно толстых амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно – маслеными глаза-

ми чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушечьей жизни: лягушки пьют пиво в зеленом болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют струнный квартет, дерутся на шпагах и т. д. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер.

Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанном опилками, тяжелые дубовые бочки; вместо стульев – маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка – еврей, кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек, с наружностью обезлой обезьяны, неопределенных лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива.

Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо – буфетчица мадам Иванова, – полная, бескровная, старая женщина, которая от непрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля

из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаковой бесцветной улыбкой.

## II

Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубные пароходы Добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными, раздутыми лицами, смуглые турки в грязных чалмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух- и трехмачтовые итальянские шхуны со своими правильными этажами парусов – чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин; показываясь из-за маяка,

эти стройные корабли представлялись – особенно в ясные весенние утра – чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде, среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек, высоковерхие анатолийские кочермы и трапезондские фелюги, с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага; обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись набок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его – совершенно голые, бронзовые, маленькие люди, – издавая гортанный клеткот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весной – мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом – уродливую камбалу, осенью – макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой – десяти- и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега.

Все эти люди – матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты, – все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, избегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещающая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая.

Город соединялся с портом узкими, крутыми, коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными, забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду вплоть до нательной матросской сетки и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров с выразительными вывесками на всех языках и немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в шестьдесят шесть, и турецкие кофейни, с приборами для курения наргиле и с ночлегом за пятак; были восточные кабачки, в которых продавали улиток, пета-

лиди, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах, за глухими ставнями, ютились игорные притоны, в которых ШТОСС и баккара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом, и тут же рядом, за углом, иногда в соседней камерке, можно было спустить любую краденую вещь, от брильянтового браслета до серебряного креста и от тюка с лионским бархатом до казенной матросской шинели.

Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или на грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая ими крепкие мускулистые тела и простые души.

Здесь буйные обитатели редко подымались наверх в нарядный, всегда праздничный город с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр го-

рода.

Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал:

– Идем к Сашке?

А другие отвечали:

– Есть! Так держать.

И уже все вместе говорили:

– Вира!

Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался большим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И, без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков.

### III

Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно



чувствовалась тишина и прохлада.

Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила:

– Саша, сыграйте что-нибудь!

– Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова? – любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.

– Что-нибудь свое...

Он садился на обычное место, налево от пианино, и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое рокотание города да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напряженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыке, но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинаяющие звуки невольно раздражали ее: она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожа-

ла всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой.

Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром, и наконец зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад, ейн, цвей, дрей!» – и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом, покатою назад черепе, двигал комически губами и улыбался на все стороны.

К десяти-одиннадцати часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до двухсот и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны; если обижались, то только по пьяному делу, «для задера». Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка как редкий, тяжелый, теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем-втроем, так уставлять

стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу.

В развале вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гаме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики.

Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть, по два, по три человека с тупыми глазами и нетвердыми движеньями.

– Сашш!.. С-стра-дательную... Убла... – проситель икал, – убла-а-твори!

– Сейчас, сейчас, – твердил Сашка, быстро кивая головой, и с ловкостью врача, без звука, опускал в боковой карман серебряную монету. – Сейчас, сейчас.

– Сашка, это же подлость. Я деньги дал и уже двадцать раз прошу: «В Одессу морем я плыла».

– Сейчас, сейчас...

– Сашка, «Соловья»!

– Сашка, «Марусю»!

– «Зец-Зец», Сашка, «Зец-Зец»!

– Сейчас, сейчас...

– «Ча-ба-на»! – орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то жеребьячий голос.

И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному:  
– Сейча-а-ас...

И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.

– Сашенька... Милочек... Одну кружечку.

– Саша, за ваше здоровье. Иди же сюда, черт, печенки, селезенки, если тебе говорят.

– Сашка-а, пиво иди пи-ить! – орал жеребьячий голос.

Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом, с игривым, капризным смешком:

– Сашечка, вы должны непременно от мене выпить... Нет, нет, нет, я вас прошу. И потом, сыграйте «ку-ку-вок».

Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь «Разлуку». Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад мотиву скулить щенком, хрю-

кать свиньёю или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением:

– Го-го-го-го-о-о!

Становилось все жарче. С потолка лило, некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь, другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин и из-за прежних обид и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, униженные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распорядилась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури.

Всех одолевало желание петь. Сашка, размякший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза:

На что нам ра-азлучаться,  
Ах, на что в разлу-уке жить?  
Не лучше ль повенчаться,  
Любовью дорожить?

А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уже совсем вразброд:

Вижу я по походке,  
Что пестреются штанцы.  
В него волос под шантрета  
И на рипах сапоги.

Гамбринус часто посещали малоазиатские греки «допголаки», которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого однообразного воя на двух-трех нотах, и с мрачными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохлацкие думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни.

Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, бляеть и реветь. Гости Гамбринуса

так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно:  
но:

– Клоунство.

И ушел, не допив своей кружки.

## IV

Нередко деликатные маркизы и пирующие немецкие охотники, жирные амуры и лягушки бывали со своих стен свидетелями такого широкого разгула, какой редко где можно было бы увидеть, кроме Гамбринуса.

Являлась, например, закутившая компания воров после хорошего дела, каждый с возлюбленной, каждый в фуражке, лихо заломленной набок, в лакированных сапогах, с изысканными трактирными манерами, с пренебрежительным видом. Сашка играл для них особые, воровские песни: «Погиб я, мальчишечка», «Не плачь ты, Маруся», «Прошла весна» и другие. Плясать они считали ниже своего достоинства, но их подружки, все недурные собой, молоденькие, иные почти девочки, танцевали «Чабана» с визгом и шелканьем каблучков. И женщины и мужчины пили очень много – было дурно только то, что воры всегда заканчивали свой кутеж старыми денежными недоразумениями и любили исчезнуть не платя.

Приходили большими артелями, человек по тридцати, рыбаки после счастливого улова. Поздней осенью выдавались такие счастливые недели, когда в каждый завод попада-

лось ежедневно тысяч по сорока скумбрии или кефали. За это время самый мелкий пайщик зарабатывал более двухсот рублей. Но еще более обогащал рыбаков удачный лов белуги зимой, зато он и отличался большими трудностями. Приходилось тяжело работать, за тридцать-сорок верст от берега, среди ночи, иногда в ненастную погоду, когда вода заливала баркас и тотчас же обледеневала на одежде, на веслах, а погода держала по двое, по трое суток в море, пока не выбрасывала куда-нибудь верст за двести, в Анапу или в Трапезонд. Каждую зиму пропадало без вести до десятка яликов, и только весной волны прибывали то тут, то там к чужому берегу трупы отважных рыбаков.

Зато когда они возвращались с моря благополучно и удачно, то на суше ими овладевала бешеная жажда жизни. Несколько тысяч рублей спускались в два-три дня в самом грубом, оглушительном, пьяном кутеже. Рыбаки забирались в трактир или еще в какое-нибудь веселое место; вышвыривали всех посторонних гостей, запирали наглухо двери и ставни и целые сутки напролет пили, предавались любви, орали песни, били зеркала, посуду, женщин и нередко друг друга, пока сон не одолевал их где попало – на столах, на полу, поперек кроватей, среди плевков, окурков, битого стекла, разлитого вина и кровавых пятен. Так кутили рыбаки несколько суток подряд, иногда меняя место, иногда оставаясь в одном и том же. Прокутив все до последнего гроша, они с гудящими головами, со знаками битв на лицах, трясясь



от похмелья, молчаливые, удрученные и покаянные, шли на берег, к баркасам, чтобы приняться вновь за свое милое и проклятое, тяжелое и увлекательное ремесло.

Они никогда не забывали навестить Гамбринус. Они туда вламывались огромные, осипшие, с красными лицами, обожженными свирепым зимним норд-остом, в непромокаемых куртках, в кожаных штанах и в воловых сапогах по бедра – в тех самых сапогах, в которых их друзья среди бурной ночи шли ко дну как камни.

Из уважения к Сашке они не выгоняли посторонних, хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжелые кружки об пол, Сашка играл им ихние рыбацкие песни, протяжные, простые и грозные, как шум моря, и они пели все в один голос, напрягая до последней степени свои здоровые груди и закаленные глотки. Сашка действовал на них, как Орфей, усмирявший волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман баркаса, бородатый, весь обветренный, звероподобный мужчинец, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова песни:

Ах, бедный, бедный я мальчишечка,  
Что уродился рыбаком...

А иногда они плясали, топчась на месте, с каменными лицами, громыхая своими пудовыми сапогами и распространя по всей пивной острый соленый запах рыбы, которым

насквозь пропитались их тела и одежды. К Сашке они были очень щедры и подолгу не отпускали от своих столов. Он хорошо знал образ их тяжелой, отчаянной жизни. Часто, когда он играл им, то чувствовал у себя в душе какую-то почти-тельную грусть.

Но особенно он любил играть английским матросам с коммерческих судов. Они приходили гурьбой, держась рука об руку, – все как бы на подбор грудастые, широкоплечие, молодые, белозубые, с здоровым румянцем, с веселыми, смелыми голубыми глазами. Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи. Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту, Они узнавали его и, приветливо скаля белые зубы, приветствовали его по-русски:

– Здрайст, здрайст.

Сашка сам, без приглашения, играл им «Rule Britannia»<sup>3</sup>. Должно быть, сознание того, что они сейчас находятся в стране, отягощенной вечным рабством, придавало особенно гордую торжественность этому гимну английской свободы. И когда они пели, стоя, с обнаженными головами, последние великолепные слова:

Никогда, никогда, никогда  
Англичанин не будет рабом! —

---

<sup>3</sup> «Правь, Британия» (англ.).

то невольно и самые буйные соседи снимали шапки.

Коренастый боцман с серьгой в ухе и с бородой, растущей точно бахромы из шеи, подходил к Сашке с двумя кружками пива, широко улыбался, хлопал его дружелюбно по спине и просил сыграть джигу. При первых же звуках этого залихватского морского танца англичане вскакивали и расчищали место, отодвигая к стенам бочонки. Посторонних просили об этом жестами, с веселыми улыбками, но если кто не торопился, с тем не церемонились, а прямо вышибали из-под него сиденье хорошим ударом ноги. К этому, однако, прибегали редко, потому что в Гамбринусе все были ценителями танцев и в особенности любили английскую джигу. Даже сам Сашка, не переставая играть, становился на стул, чтобы лучше видеть.

Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а двое выступали в серединку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинута назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка это одно веселье, только колена танца становятся все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер – ходить по палубе уже не так удобно, – танцоров слегка покачивает с боку на бок. Наконец вот и настоящая буря – матросов швыряет от борта к борту, дело становится серьезным. «Все наверх, убирать паруса!» По дви-

жениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты, между тем как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой, человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напряжив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит, мало-помалу утихает качка, проясняется небо, и вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром, и опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками отделяют ногами веселую частую джигу.

Приходилось Сашке иногда играть лезгинку для грузин, которые занимались в окрестностях города виноделием. Для него не было незнакомых плясок. В то время когда один танцор, в папахе и черкеске, воздушно носился между бочками, закидывая за голову то одну, то другую руку, а его друзья прихлопывали в такт и подкрикивали, Сашка тоже не мог утерпеть и вместе с ними одушевленно кричал: «Хас! хас! хас! хас!» Случалось ему также играть молдавский джок, и итальянскую тарантеллу, и вальсы немецким матросам.

Случалось, что в Гамбринусе дрались, и довольно жестоко. Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, уволенными в запас с какого-то крейсера, и английскими моряками. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг в друга бочонками для сидения. Не к чести русских воинов, надо сказать, что они первые начали скан-

дал, первые же пустили в ход ножи и вытеснили англичан из пивной только после получасового боя, хотя превосходили их численностью в три раза.

Очень часто Сашкино вмешательство останавливало ссору, которая на волоске висела от кровопролития. Он подходил, шутил, улыбался, гримасничал, и тотчас же со всех сторон к нему протягивались бокалы:

– Сашка, кружечку!.. Сашка, со мной... Вера, закон, печенки, гроб...

Может быть, на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная доброта, весело лучившаяся из его глаз, спрятанных под покатым черепом? Может быть, своеобразное уважение к таланту и что-то вроде благодарности? А может быть, также и то обстоятельство, что большинство завсегда-таев Гамбринуса состояло вечными Сашкиными должниками. В тяжелые минуты «декохта», что на морском и портовом жаргоне обозначает полное безденежье, к Сашке свободно и безотказно обращались за мелкими суммами или за небольшим кредитом у буфета.

Конечно, долгов ему не возвращали – не по злостному умыслу, а по забывчивости, – но эти же должники в минуту разгула возвращали ссуду десятирицею за Сашкины песни.

Буфетчица иногда выговаривала ему:

– Удивляюсь, Саша, как это вы не жалеете своих денег?

Он возражал убедительно:

– Да мадам же Иванова. Да мне же их с собой в могилу не

братъ. Нам с Белочкой хватит. Белинька, собачка моя, поди сюда.

## V

Появлялись в Гамбринусе также и свои модные, сезонные песни.

Во время войны англичан с бурами процветал «Бурский марш» (кажется, к этому именно времени относилась знаменитая драка русских моряков с английскими). По меньшей мере раз двадцать в вечер заставляли Сашку играть эту героическую пьесу, и неизменно в конце ее махали фуражками, кричали «ура», а на равнодушных косились недружелюбно, что не всегда бывало добрым предзнаменованием в Гамбринусе.

Затем подошли франко-русские торжества. Градоначальник с кислой миной разрешил играть Марсельезу. Ее тоже требовали ежедневно, но уже не так часто, как бурский марш, причем «ура» кричали жижее и шапками совсем не размахивали. Происходило это оттого, что, с одной стороны, не было мотивов для игры сердечных чувств, с другой стороны – посетители Гамбринуса недостаточно понимали политическую важность союза, а с третьей – было замечено, что каждый вечер требуют Марсельезу и кричат «ура» все одни и те же лица.

На минутку сделался было модным мотив кекуока, и да-

же какой-то случайный заколобродивший купчик, не снимая енотовой шубы, высоких калош и лисьей шапки, протанцевал его однажды между бочками. Однако этот негритянский танец был вскорости позабыт.

Но вот наступила великая японская война. Посетители Гамбринуса зажили ускоренною жизнью. На бочонках появились газеты, по вечерам спорили о войне. Самые мирные, простые люди обратились в политиков и стратегов, но каждый из них в глубине души трепетал если не за себя, то за брата, или, что еще вернее, за близкого товарища: в эти дни ясно сказалась та незаметная и крепкая связь, которая спаивает людей, долго разделявших труд, опасность и ежедневную близость к смерти.

Вначале никто не сомневался в нашей победе. Сашка раздобыл где-то «Куропаткин-марш» и вечеров двадцать подряд играл его с некоторым успехом. Но как-то в один вечер «Куропаткин-марш» был навсегда вытеснен песней, которую привезли с собой балаклавские рыбаки, «соленые греки», или «пиндосы», как их здесь называли:

Ах, зачем нас отдали в солдаты,  
Посылают на Дальний Восток?  
Неужли же мы в том виноваты,  
Что вышли ростом на лишний вершок?

С тех пор в Гамбринусе ничего другого не хотели слушать. Целыми вечерами только и было слышно требование:

– Саша, страдательную! Балаклавскую! запасную!

Пели, и плакали, и пили вдвое больше обыкновенного, как, впрочем, пила тогда поголовно вся Россия. Каждый вечер приходил кто-нибудь прощаться, храбрился, ходил пехотом, бросал шапку об землю, грозился один разбить всех япошек и кончал страдательной песней со слезами.

Однажды Сашка явился в пивную раньше, чем всегда. Буфетчица, налив ему первую кружку, сказала, по обыкновению:

– Саша, сыграйте что-нибудь свое...

У него вдруг закружились губы, и кружка заходила в руке.

– Знаете что, мадам Иванова? – сказал он, точно в недоумении. – Ведь меня же в солдаты забирают. На войну.

Мадам Иванова всплеснула руками:

– Да не может быть, Саша! Шутите?

– Нет, – уныло и покорно покачал головой Сашка, – не шучу.

– Но ведь вам лета вышли, Саша? Сколько вам лет?

Этим вопросом как-то до сих пор никто не интересовался. Все думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сторожившему вход.

– Сорок шесть. – Саша подумал. – А может быть, сорок девять. Я сирота, – прибавил он уныло.

– Так вы пойдите объясните кому следует.

– Я уже ходил, мадам Иванова, я уже объяснял.



– И... Ну?

– Ну, мне ответили: пархатый жид, жидовская морда, поговори еще – попадешь в клоповник... И дали вот сюда.

Вечером новость стала известной всему Гамбринусу, и из сочувствия Сашку напоили мертвецки. Он пробовал кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но из его кротких смешных глаз глядели грусть и ужас. Один здоровенный рабочий, ремеслом котельщик, вдруг вызвался идти на войну вместо Сашки. Всем была ясна очевидная глупость такого предложения, но Сашка растрогался, прослезился, обнял котельного мастера и тут же подарил ему свою скрипку. А Белочку он оставил буфетчице...

– Мадам Иванова, вы же смотрите за собачкой. Может, я и не вернусь, так будет вам память о Сашке. Белинька, собачка моя! Смотрите, облизывается. Ах ты моя бедная... И еще попрошу вас, мадам Иванова. У меня за хозяином остались деньги, так вы получите и отправьте... Я вам напишу адреса. В Гомеле у меня есть двоюродный брат, у него семья, и еще в Жмеринке живет вдова племянника. Я им каждый месяц... Что ж, мы, евреи, такой народ... мы любим родственников. А я сирота, я одинокий. Прощайте же, мадам Иванова.

– Прощайте, Саша! Давайте хоть поцелуемся на прощание-то. Сколько лет... И – вы не сердитесь – я вас перекрещу на дорогу.

Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не спаясничать напоследок:

– А что, мадам Иванова, я от русского креста не подохну?

## VI

Гамбринус опустел и заглох, точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклеянным носом, в клетчатых панталонах и в воротничке выше ушей, исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха: наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке.

Однако, по старой памяти, Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами из тех, кого война не повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер:

– Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно... – Да-а... Где-то ты витаешь, мил-любезный друг Сашенька?

В полях Манжу-у-урии далеко... —

заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно: – Раны бывают сквозные, колотые и рубленые. А бывают и рваные...

Сибe с побeдой проздравляю,  
Тибe с оторванной рукой...

– Посто́й, не скули... Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?

Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, откинув голову и шевеля губами. Белочка лежала у нее на коленях и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а ее команда бродила по пивной вялая и заспанная.

На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой:

– Ничего не знаю... И писем нет, и из газет ничего не известно.

Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с теплой, угревшейся Белочкой и, отвернувшись, тихонько всхлипывала.

Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным, трогательным голоском:

– Что, Белинька? Что, собаченька? Где наш Саша? А? Где наш хозяин?

Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в тон буфетчице начинала тихонько подвывать:

– А-у-у-у... Ау-ф... А-у-у...

Но... все обтачивает и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников – русско-малороссийский хор с девицами, и наконец прочнее других утвердился в Гамбринусе известный Лешка-гармонист, по профессии вор, но решивший, вследствие женитьбы, искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь: да, впрочем, и надо было терпеть – дела в Гамбринусе шли очень плохо.

Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка.

Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкантской команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья.

Весть о его прибытии как электрический ток разнослась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским... Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять, кружки с пивом передавались из рук в руки через головы, и хотя многие в этот день ушли не плативши, Гамбринус торговал как никогда. Котельный мастер

принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лешка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю поденно, и у меня контракт!» – твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и наверно поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество.

Уж наверно ни один из отечественных героев времен японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашке! Сильные, корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городской несколько раз заходил в пивную и упрашивал, «чтобы потише, потому что на улице очень громко».

В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а Белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением:

– Братцы, да ведь это Сашка!

Густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом.

Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие: время и бедствия так же мало действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которые она видела в них при прощании, но стало еще глубже и значительнее. Сашка по-прежнему паясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется.

## VII

Все пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Так же праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, так же плясали воровские подружки, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезенные из всех гаваней земного шара.

Но уже близились пестрые, переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом «свобода», которое в этот

вечер без числа повторяла вся необъятная, доверчивая страна.

Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые, красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и открывалось им навстречу.

– Сашка, Марсельезу! Ж-жарь! Марсельезу!

Нет, это было совсем не похоже на ту Марсельезу, которую скрепя сердце разрешил играть градоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах атели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу...

Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском побережье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными глазами, темно-красный, как очень спелый томат.

– Что? Кто здесь хозяин? – хрипел он. – Подавай хозяина! Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой.

– Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы ни-

каких гимнов!

– Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство, – спокойно ответил Сашка.

Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.

– Ник-как-ких!

– Слушаю, ваше превосходительство, никаких.

– Я вам покажу революцию, я вам покаж-у-у-у!

Помощник пристава как бомба вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние.

И на весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов охранял патрулями гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ божий, давно покинутый гневным библейским богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не исполнена.

Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие



кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек.

Утром начался погром. Те люди, которые однажды, расстроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением, под символами завоеванной свободы, – те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью».

В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей, чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та небоязнь боязни, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившейся во всю ширь улицы, какой-то каменщик, в красной рубахе и белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал:

– Жи-ид! Бей жида! В крррровь!

Но кто-то схватил его сзади за руку:

– Стой, черт, это же Сашка. Олух ты, матери твоей в сердце, в печень...

Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную,

бредовую секунду готов был убить кого угодно – отца, сестру, священника, даже самого православного бога, но также был готов, как ребенок, послушаться приказа каждой твердой воли.

Он ослабился, как идиот, сплюнул и утер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперед, с протянутыми руками, без шапки, с раскрытым ртом и с глазами, круглыми и белыми от безумия.

На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка отер пятно платком.

## VIII

Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафешантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытившись вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папах, с георгиевскими лентами в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламы-

вались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой.

Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно несвежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотыка Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек – как говорили – большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещеный еврей.

Сашка играл «Метелицу». Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, оборотясь назад, на зрителей, крикнул:

– Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха... Гимн!

– Гимн! Гимн! – загудели мерзавцы в папахах.

– Гимн! – крикнул вдали одинокий, неуверенный голос.

Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно:

– Никаких гимнов.

– Что? – заревел Гундосый. – Ты не слушаться! Ах ты жид вонючий!

Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил:

– А ты?

– Что а я?

– Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?

– Я православный.

– Православный? А за сколько?

Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам.

– Братцы! – говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие, заученные слова. – Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церковью?..

Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно.

– Ты! – крикнул Сашка. – Ты, сукин сын! Покажи мне твое лицо, убийца... Смотри на меня!.. Ну!..

Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе, и – трах! – высокий человек в папаше качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.

– Братцы-ы, выруча-ай! – заорал Гундосый.

Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папах на улицу.

Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому:

– В Бульварный участок. По политическому. Вот мой значок.

## IX

Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение Бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков.

Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через два месяца на его месте сидел новый скрипач (между прочим, Сашкин ученик), которого разыскал аккомпаниатор.

И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно:

– Ребята, Сашка!

Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул:

– Братцы, рука-то!..

Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.

– Что это у тебя, товарищ? – спросил, наконец, волосатый боцман из «Русского общества».

– Э, глупости... там какое-то сухожилие или что, – ответил Сашка беспечно.

– Та-а-к...

Опять все помолчали.

– Значит, и «Чабану» теперь конец? – спросил боцман участливо.

– «Чабану»? – переспросил Сашка, и глаза его заиграли. – Эй, ты! – приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. – «Чабана»! Ейн, цвей, дрей!..

Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла

изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого «Чабана».

– Хо-хо-хо! – раскатились радостным смехом зрители.

– Черт! – воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляске и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:

– Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.

# **Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина) (Читано на вечере, посвященном памяти Н.Г. Михайловского)**

Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества.

Странно-многозначительны, почти фатальны по сопоставлению, были – моя первая встреча с ним и последняя.

Познакомился я с Н.Г. Михайловским в расцвете его кипучей деятельности, в дни счастливых, удачных начинаний и грандиозных планов, в пору особенного блеска и плодовитости его таланта. Это было в Ялте, весной, на даче С.Я. Елпатьевского, на большой белой террасе, которая точно плавала над красивым гористым южным городом, над темными, узкими кипарисами и над веселым голубым морем. Был сияющий, радостный, великолепный день. Издалека из город-



ского сада доносились бодрые звуки медного оркестра. Легкие турецкие кочермы и фелюги лениво покачивались, точно нежась в малахитовой воде бухты. Сладко благоухали тяжелые синие гроздья цветущей глицинии. И во многолюдном обществе, собравшемся за завтраком на белой террасе в этот веселый полдень, было какое-то праздничное веселье, сверкал молодой, яркий смех, кипела беспричинная, горячая радость жизни.

Тут присутствовало несколько писателей, два художника, начинающая художница, очень известная певица, два марксиста – оба, точно по форме, в пенсне, в синих блузах, подпоясанных кожаным кушаком, и в широкополых войлочных шляпах, – местный помещик-винодел с женою, оба красивые, молодые, несколько инженеров-практикантов и еще кто-то из совсем зеленой, смешной, непоседливой молодежи.

И я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худощавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз, – голубых, с большими черными зрачками. Голова благородной формы сидела изящно и легко на тонкой шее, а лоб – наполовину белый, наполовину

коричневый от весеннего загара – обращал внимание своими чистыми, умными линиями. Он вошел и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. Но видно было, что он сам не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, прелесть его улыбки, его живой, непринужденной, увлекательной речи.

В эту пору Николай Георгиевич был занят изысканием для постройки электрической железной дороги через весь Крымский полуостров от Севастополя до Симферополя через Ялту. Этот огромный план давно уже привлекал внимание инженеров, но никогда не выходил из области мечтаний. Михайловский первый вдохнул в него живую душу и по чести может быть назван его отцом и инициатором. Он нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это – электрический путь по Крыму и повесть «Инженеры». Но увы! – первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе – смертью.

Каким он был инженером-строителем, я не знаю. Но специалисты уверяют, что лучшего изыскателя и инициатора – более находчивого, изобретательного и остроумного – трудно себе представить.

Его деловые проекты и предложения всегда отличались пламенной, сказочной фантазией, которую одинаково труд-

но было как исчерпать, так и привести в исполнение. Он мечтал украсить путь своей железной дороги гротами, замками, башнями, постройками в мавританском стиле, арками и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и действительно думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия.

Таким он был во все свои дни. Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь. Он – то бывал миллионером, то сидел без копейки денег, в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорялся и повсюду оставлял золотые следы: следы своей необузданной, кипящей мысли и своих денег, которые лились у него между пальцами.

По какому-то особенному свойству души он не умел отказывать ни в одной просьбе, и этим широко пользовались все, кому действительно была нужда и кому просто было не лень. И эта черта в нем происходила не так от беспорядочной широты натуры, как от сердечной, теплой, истинной доброты. Он умер совершенным бедняком, но для всех близко его знавших не тайна, что незадолго до смерти он сам, по личному почину, предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело.

Но часто, очень часто среди этих жизненных перемен он мечтал со вздохом о том, какое было бы для него счастье,

если бы он мог навсегда развязаться со всеми делами, проектами и постройками и отдаться целиком единственному любимому делу – литературе. Ее одну он любил всей своей душой, любил с трогательной нежностью, скромно и почтительно. Два месяца спустя после нашего знакомства я провел несколько вечеров у него в Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним на литературные темы. Я должен сказать, что ни у одного из писателей я не встречал такого бескорыстия, такого отсутствия зависти и самомнения, такого благожелательного, родственного отношения к собратьям по искусству.

Мне ярко памятны эти дни в Кастрополе на берегу моря. К обеду и ужину все инженеры и студенты вместе с Н. Г-чем и его семьей сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Отношения у Н. Г-ча ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаково просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки. Помню одну характерную мелочь. Среди младших товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив *Ecole des Ponts et Chaussées*<sup>4</sup>. И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила, застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном припеке, дава-

---

<sup>4</sup> Школу дорожных инженеров (*франц.*).

лась ей с трудом. Надо сказать – дело прошлое – инженеры порядочно-таки травили как ее, так и вообще высший женский труд – и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Н. Г-ч умел мягко, но настойчиво прекращать их шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне.

По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г. импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не забыть никогда этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы.

Повторяю, я мало знал покойного писателя. К тому немногому, что я сказал, я могу прибавить, что Н. Г. бесконечно любил детей. Несмотря на то, что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно-отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям. Он любил цветы, музыку, красоту слова, красоту природы и женскую нежную красоту. У него – современного литератора – была душа эллина. Лишь что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное, мещанское могло внести в его всегдашнюю добродушную легкую насмешку злобу и

презрение.

Таков он был в то лето, перед войною. Затем я видел его мельком раза три-четыре: на железной дороге, в гостях, где-то на литературных собраниях, но ни разу больше мне не удавалось разговаривать с ним. Но последняя наша встреча потрясла меня своей неожиданностью.

Это было зимою. Я присутствовал на вечере, в обществе писателей и художников в помещении издательства «Шиповник». Говорили, что и Гарин должен прийти немного позднее; но раньше он предполагал зайти на несколько минут в редакцию какой-то газеты, помещавшейся в том же доме, этажом выше. И вот вдруг приходит сверху растерянный слуга и говорит, что Михайловский умер скоропостижно в редакции. Я пошел туда. Он лежал на диване, лицом вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых, молодых глаз, но было таинственно-прекрасно и улыбалось вечной улыбкой знания.

Пожилая дама сидела у него в ногах и без слов, неподвижно и молча глядела ему в лицо, точно разговаривая с ним мысленно. Я пожал его руку. Она была холодна и тверда. И – помню – сознавая его смерть умом, я никак не мог понять сердцем, почему холод и оцепенение смерти овладели именно этим живым, энергичным телом, этой пылкой творческой мыслью, этой изящной, избранной душой.

# **О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай» (Читано 12 октября 1908 г. на вечере имени Толстого в Тенишевской зале)**

Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят – шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит Бог его дни!), будут также глядеть, как на чудо.

И поэтому я считаю не лишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого.

Сергей Яковлевич Елпатьевский предупредил меня, что завтра утром Толстой уезжает из Ялты. Ясно помню чудесное утро, веселый ветер, море, – беспокойное, сверкающее, – и пароход «Святой Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. Он приехал в двуконном экипаже с поднятым верхом. Коляска остановилась. И вот из коляски

показалась старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-старчески, вышел он. На нем было коротковатое драповое пальто, высокие сапоги, подержанная шляпа котелком. И этот костюм, вместе с седыми иззелена волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное впечатление. Он был похож на старого еврея, из тех, которые так часто встречаются на юго-западе России.

Меня ему представили. Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я был очень растерян в эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого значения. Помню пожатие его большой, холодной, негнущейся старческой руки. Помню поразившую меня неожиданность: вместо громадного маститого старца, вроде микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожно-го и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий, тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека. Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе.

Здесь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской прическе за Максима Горького, и вся паро-



ходная толпа хлынула за ним. В это время Толстой, как будто даже обрадовавшись минутной свободе, прошел на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потертые дьяконы, и я видел чудесное зрелище: перед ним с почтением расступались люди, не имевшие о нем никакого представления. Он шел, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет царь славы». И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери, старинной, убежденной москвички, о том, как Толстой идет где-то по одному из московских переулков, зимним погожим вечером, и как все идущие навстречу снимают перед ним шляпы и шапки, в знак добровольного преклонения. И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, – это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная власть.

Потом прошло еще пять минут. Приехали новые знакомые Льва Николаевича, и я увидел нового Толстого, – Толстого, который чуть-чуть кокетничал. Ему вдруг сделалось тридцать лет: твердый голос, ясный взгляд, светские манеры. С большим вкусом и очень выдержанно рассказывал он следующий анекдот:

– Вы знаете, я на днях был болен. Приехала какая-то депутация, кажется, из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, они представлялись мне, проходя

пред окном... и вот... Может, вы помните у меня, в «Плодах просвещения», толстую барыню? Может быть, читали? Так вот она подходит и говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» Я уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я спрашиваю: «Что же вам особенно понравилось?» Молчит. Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», «Детство и отрочество»... Она краснеет, растерянно бегаёт глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: «Ах, да... Детство отрока... Военный мир... и другие...»

В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидел нового Толстого, выдержанного, корректного европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным английским произношением.

Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти – пятнадцати минут. Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим.

Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей – это жить в то время, когда живет этот удивительный человек.

Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. Что человек, создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Вась-

ку Денисова, и старого мерина Холстомера, и суку Милку, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и казаков вместе с очаровательным дядей Брошкой, от которого так уютно пахло немножко кровью, немножко табаком и чихирем, – что этот многообразный человек, таинственной властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться, – есть истинный, радостно признанный властитель. И что власть его – подобная творческой власти Бога – останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет на свете.

Вот приблизительно и все, что я успел продумать и перечувствовать между вторым и третьим звонком, пока отчалил от ялтинской пристани тяжелый, неуклюжий грузовой пароход «Св. Николай».

Вспоминаю еще одну маленькую, смешную и трогательную подробность.

Когда я сбегал со схода, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне человек.

Я спросил:

– А вы знаете, кого вы везете?

И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул:

– Конечно, Толстого!

И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково понятное на всех долготах и широтах земного шара.

Конечно, Льва Толстого!

От всей полноты любящей и благодарной души желаю ему многих лет здоровой, прекрасной жизни. Пусть, как добрый хозяин, взрастивший роскошный сад на пользу и радость всему человечеству, будет он долго-долго на своем царственном закате созерцать золотые плоды – труды рук своих.

*1908*

# Лавры

## Сказочка

– Почтеннейшая публика, прекрасные дамы и милостивые господа! Я тоже, с вашего позволения, расскажу свою историю, из которой вы ясно увидите, как непрочна земная красота и как хрупка и преходяща слава.

Этот голос раздался из самой глубины обширной помойной ямы, где в кислой, вонючей тьме догнивали остатки овощей, картофельная шелуха, безобразные тряпки, кости, веревки, лимонные корки, бумажки, окурки и рыбы внутренности, где громоздились в куче разбитые бутылки, проволока, жестянки и пустые спичечные коробки и где хозяйничали вволю огромные бурые крысы, мудрые и злые животные с голыми хвостами и острыми черными глазками.

– Позвольте, кто это говорит? – спросила надменно растерзанная грецкая губка, у которой было блестящее прошлое, проведенное в уборной хорошенькой женщины.

– Это я, лавровый лист, – отозвался скромный голос – Меня, к сожалению, не совсем видно, потому что я сверху придавлен старым башмаком и засыпан каким-то мусором. Но, если судьбе будет угодно когда-нибудь извлечь меня из этих недр на поверхность, я, конечно, сочту долгом представиться всем моим высокочтимым соседям. Я получил хорошее

воспитание, вращался в большом обществе и потому знаю светские обязанности.

Так вот моя история, милостивые государыни и государи:

Я происхождением южанин и вырос на Южном берегу Крыма в большой зеленой кадке, обитой железными обручами. Как сквозь какую-то волшебную пелену вспоминаю я небо, море, горы и стрекотание цикад в жаркие ночи. Помню благоухание глициний, струивших вниз свои голубые водопады, и благоухание маленьких белых вьющихся роз, пахнувших фиалкой, и сладкий лимонный аромат магнолий, огромные белые цветы которых были точно выточены из слоновой кости, и роскошный, страстный, горячий запах тысяч штамбовых роз: белых, желтых, палевых, розовых, пунцовых и темно-пурпурных.

Я был тогда молод и мало смыслил в делах житейских, так же мало, как и сотни моих братьев, происшедших от одного и того же ствола. Впервые о великом значении лавровых листьев я узнал в томный летний вечер, когда мимо нас проходила девушка в белом платье вместе с гимназистом. У девушки в рыжих волосах горело пушистым золотом заходящее солнце, а у гимназиста был мрачный вид и пояс, спущенный ниже бедер, отчего ноги его казались до смешного короткими.

– Посмотрите, Коля, – это ведь лавры! – закричала девушка в восторге. – Настоящие лавры! Те самые лавры, которыми награждали поэтов и победителей на Олимпийских иг-

рах, которые не давали спать Мильтиаду, которыми увенчали Петрарку...

Но гимназист был, как я потом узнал, влюблен, разочарован, оставлен на второй год в четвертом классе и, кроме того, принадлежал к партии а. а., то есть был «атчаянным анархистом». Он сорвал один листик, растер его между пальцами, понюхал и сказал суровым басом:

– И которые кладут в суп...

Прошло три лета. Я уже порядочно вытянулся и достиг юношеского возраста, когда наше деревцо пересадили в другую кадку, гораздо больших размеров, и вот однажды осенним утром закутали нас в рогожу, обвязали мочалками и отправили на север. Ехали мы и на телеге, и на пароходе, и по железной дороге, и опять на телеге, и по правде сказать, это было пренеприятное путешествие среди постоянной духоты, темноты и качки.

Так мы и приехали в этот большой город, где протекла вся моя шумная и разнообразная жизнь и где под конец моих дней я имею высокую честь беседовать с таким почтенным собранием.

Поместили нас в зимнем саду, в большом пышном доме, похожем на дворец. Над нами была стеклянная крыша, и южная стена теплицы была тоже из стеклянных рам, но искусственный газон, узенькие дорожки, посыпанные песком, и фонтан над бассейном из ноздреватого камня должны были напоминать о настоящей природе.

Несколько раз в год во дворце бывали блестящие балы. Тогда лавровые деревья вместе с пальмами и другими большими растениями перетаскивались из зимнего сада в комнаты, на лестницу и даже на подъезд, покрытый, как шатром, полосатым тиком. Какое общество я перевидал в эти дни, какие прекрасные женщины, выхоленные в лучших человеческих оранжереях, пробегали мимо меня наверх по ступеням, устланным толстым красным ковром, перебирая своими маленькими ножками в белых атласных туфельках. Какие плечи, руки, кружева, жемчужные ожерелья на обнаженных шеях. Какие ленты, звезды, бакенбарды, шпоры, мундиры, фраки, цветы в петличках, какая чудесная музыка, свет, запах духов!

И все это прошло, как сон. Однажды зимним днем, когда снег шел так густо-густо и такими огромными хлопьями, как будто бы кто-то там наверху уничтожил всю свою корреспонденцию, накопившуюся за тысячу лет, пришли мужики и перенесли нас в большую пустую комнату, посредине которой лежал на черном возвышении, в длинном серебряном ящике, седой человек с закрытыми глазами и с бледным лицом, улыбавшимся мудрой и благодарной улыбкой. Приходили и уходили люди, очень много людей, пели, говорили нараспев, опять пели, и вся комната наполнялась тогда синим пахучим дымом, в котором тепло и мглисто мерцали огоньки свечей. И было очень странно видеть, как все глядели на лежавшего и говорили только о нем и пели только про него, а он все ле-



жал и лежал, не открывая глаз и тихо улыбаясь.

Когда его унесли и запах синего дыма еще стоял в пустой комнате, пришли веселые люди в красных рубашках и замазали белой краской оконные стекла. А меня с моими братьями взяли на плечи двое рабочих и понесли через весь город в цветочный магазин. Несмотря на холод, весело было мне глядеть сверху на экипажи и вагоны и на головы тысячной толпы.

Но в цветочном магазине я пробыл недолго. Нас купил какой-то трактирщик и поставил в зале между столиками, в сомнительной компании с искусственными пальмами. Плохая это была жизнь. Нас часто забывали поливать, а в нашу кадку каждый день набрасывали пропавшие сигарных и папиросных окурков. По вечерам играл орган, визжали скрипки, в воздухе висел чад и дым, а в стеклянном аквариуме стояли неподвижно, едва пошевеливая плавниками, большие, темные, издыхающие рыбы. Время от времени слышал я знакомые фразы о Мильтиаде и Петрарке, но только скучал от них. Время и жизненный опыт старили меня.

Потом хозяин наш разорился. Кто-то скупил за долги и орган, и столики, и белые салфетки, и аквариум. Но растений новый владелец не любил. И мы опять попали в цветочный магазин.

Не буду распространяться подробно об этом тусклом времени. Скажу только, что часто брали нас напрокат и украшали нами то лестницы во время платных балов, то церкви,

то рестораны под Новый год, то кухмистерские и свадебные вечера. Всего и не упомню.

Но раз глубокой осенью пришли в магазин двое: девушка в непромокаемом плаще и краснощекий, курчавый, веселый и шумный студент, в котором я узнал прежнего мрачного гимназиста, свидетеля моего детства. Они заказывали лавровый венок, небольшой, простой лавровый венок и к нему широкую красную ленту с надписью золотыми буквами: на одной половине – «Гению русской сцены», а на другой – «От учащейся молодежи».

Да, это был мой смертный приговор. В тот же день меня остригли от родного ствола и сплели в кружок с другими листьями. А вечером человек в красном фраке с золотыми пуговицами пронес меня между двумя рядами сидящих людей, передал другому человеку, а этот передал третьему, который нагнулся сверху, чтобы взять меня. Этот третий, сильно освещенный огнями, был в черном бархатном камзоле, в черных чулках в обтяжку и в белокуром парике. Он улыбался счастливо, искательно, гордо и неестественно, и вот я увидел с высоты много сотен человеческих лиц, как смутно-бледные пятна. Одни пятна, пятна, пятна. Я услышал рев и плеск толпы и убедился, что лицо, к которому я прикасался, было влажно и горячо. И долгое время на моей нижней стороне сохранялся жирный розовый мазок грима.

Так началась наша общая жизнь с этим бритым рослым человеком и продолжалась много-много лет. Жили мы и в

больших просторных комнатах гостиниц, и на чердаках, и в подвалах. Когда временами бритый человек терял равновесие и пошатывался, то он снимал нас с гвоздя, прижимал к губам и мочил слезами. «Этот скромный веночек – самый лучший дар признательных и чистых сердец! – восклицал он блеющим голосом. – Положите его со мной в могилу». А иногда кричал своему слуге: «Убери к черту этот банный венчик, вышвырни его за окошко!» Но в конце концов все-таки вышвыривать нас не позволял.

Но... все проходит и все повторяется в этом мире. Однажды черные лошади с белыми султанами на головах повезли моего бритого человека, лежавшего под балдахинном в узком ящике, на край города. Мы с другими венками ехали сзади него на маленькой повозочке, а позади нас шла толпа. Люди опять попели, поговорили, покадили знакомым мне синим дымком, опустили в яму бритого человека и разъехались.

Прошло лето, осень и наступила зима. Над бритым человеком положили мраморную плиту и поставили часовенку. Какая-то дама в черном навещала нас изредка и смахивала пыль с венков.

Венки были разные: из иммортелей, и из живых цветов, и из зеленой жести, и из крашеной материи. Были и серебряные венки, но их увезли сейчас же после того, как зарыли бритого человека в землю. А мы все так и висели – по стенкам часовни, разрушаясь от времени, от ветра и сырости.

И однажды дама в черном сказала сторожу:

– Пожалуй, надо убрать некоторые венки. Уж очень некрасиво. Вот этот, этот и тот...

И правда, у всех у нас вид был неказистый: краски слиняли, цветы сморщились, листья покоробились и обломались. В тот же день сторож забрал нас и свалил в темную, холодную каморку позади своего жилья, вместе со всяким хламом.

Сколько я там пролежал времени, я не могу сказать. Может быть, неделю, может быть, десять лет. Время точно остановилось: да и я сам уже был почти мертвецом. Как-то зашел к сторожу знакомый старьевщик, и нас вытащили на свет Божий. Перебирая всякую рухлядь, он взял в руки лавровый венок, поглядел на него с усмешкой, понюхал и сказал:

– Ничего... годится и этот. Еще пахнет.

Он ощипал венок, вымыл листья, чтобы придать им свежий вид, и отнес в мелочную лавку, и я долго пролежал на полочке в бумажном мешочке, пока не пришла однажды утром кухарка из дома напротив.

– На копейку перцу, на три луку, на копейку лаврового листа, на три копеечки соли, – просыпала она скороговоркой.

Толстая плотная рука опустилась в тюрик и бросила меня на весы. Через час я уже кипел в супе, а вечером меня выплеснули в грязное ведро, а дворник отнес меня на помойку. Здесь и окончилась моя долгая, пестрая жизнь, начавшаяся так поэтично... Рассказчик помолчал и прибавил со вздохом:

– Все проходит в этом мире...

Слушатели молчали задумчиво. Молчали, поводя усами, бурые умные крысы с голыми хвостами. Один только древний шагреновый переплет, когда-то облекавший очень глубокомысленную книгу, сказал наставительно:

– Все проходит, но ничто не пропадает.

Но старый башмак зевнул во весь свой разодранный рот и сказал лениво:

– Ну, это, знаете ли, не утешительно...

# В Крыму (Меджид)

## I

На краю пригородной деревни Аутки, там, где светлый горный ручеек, заключенный в свинцовую трубку, льется целый день серебряной переливчатой дугой и сладко плещется в каменном столетнем водоеме, под прохладной тенью столетнего ореха, там молодой ялтинский проводник Меджид моет по утрам трех лошадей: двух собственных серых жеребцов – Красавчика и Букета, и старого вороного коня, взятого им напрокат, на сезонное время, из гор.

Накануне Меджид с другим проводником Асаном проводил большую кавалькаду на хребет Яйлы. Вернулся он домой далеко за полночь, и когда вываживал мокрых холодных от пота лошадей по тихой и звучной улице, голубой в месячном свете, то шатался от сна и усталости. Не раздеваясь, лег он на ковре в кунацкой и, как ему показалось, только на секунду закрыл глаза, а когда открыл их, то был уже синий и золотой день, сверкавший зелеными улыбками.

Татарская девушка мыла белье в прозрачной луже, в которую по наружным стенкам стекала вода из переполненного бассейна. Положив на дощечку разноцветные тряпки,

она с бессознательной грацией переступала по ним босыми маленькими ступнями, и в такт с движениями ее гибкого тонкого тела покачивались у нее на спине две жесткие черные косы, падавшие вниз из-под круглой бархатной шапочки, расшитой золотыми блестками. Теневые пятна и солнечные кружки тихо скользили взад и вперед, вкось, по ее бледно-смуглому лицу с прекрасными детскими глазами, а длинное темное платье, слегка зажатое между коленями, лучилось сверху красивыми складками. Обменявшись с Меджидом быстрым «селямом», она тотчас же уступила ему и его лошади место у фонтана: мужской труд – священное дело.

Светло-серый, почти белый, пожилой Красавчик с особенным удовольствием спокойно мочил в прохладной воде лужицы свои высокие, стаканчиками, копыта, натруженные вчера мелким камнем горячего шоссе. Нагнув вниз шею и вытянув вперед нежную белую голову с черными, ласково-суженными глазами, он тянулся голым розовым хрупом к воде и коротко взмахивал хвостом каждый раз, когда Меджид оплескивал его из ведра; серый, видный, в темных яблоках на крупе, пятилетний Букет играл на месте, разбрызгивая вокруг себя воду, отчего Меджид притворно грубо бранился и рукавом куртки вытирал брызги со своего лица. На вороного коня Меджид мало тратил забот: это была настоящая неприхотливая горная лошадка с железными ногами, привыкшая с грузом угля или дров по обеим сторонам седла спускаться с Яйлы и подыматься вверх по тропинкам,

почти недоступным для средней руки пешеходов. Меджид только облил его два-три раза водою и звонко шлепнул по узкому, высокому, костистому, заблестевшему заду. И вороной вслед за двумя другими лошадьми, не торопясь, солидной рысцой потрясся в темную, холодную конюшню, плоская крыша которой была почти вровень с поверхностью земли и спускаться куда приходилось по довольно крутой наклонной плоскости.

У вороного коня вовсе не было имени. Да и Красавчика с Букетом Меджид назвал так пышно и невыразительно лишь в угоду курортным дамам, которые неизбежно, прежде чем сесть на жеребца, выносили ему, чтобы его задобрить, кусочек хлеба или сахару, трепали его боязливо по шее, целовали между ноздрей, точно этот поцелуй мог ему доставить какое-нибудь удовольствие, и спрашивали нежно: «Меджид, а как его зовут?»

Стройная, тонкая девушка, изящно поддерживая рукой на голове дощечку с бельем, следила за проводником из-за забора своими пугливыми восточными глазами. Она была уже с трех лет его невестой, и родители их дожидались, пока он не скопит достаточно денег для свадьбы. Но Меджид не торопился. Веселая, хвастливая, легкая жизнь проводника казалась ему сладким праздником, которому не будет конца.

Он сам засыпал лошадям овса – вороному поменьше, – велел матери починить ремень от уздечки и ушел поспешно, чтобы захватить линейку, которая через каждые четверть



часа ходила из Аутки вниз на набережную.

Она только что отошла, но Меджид легко догнал ее и впрыгнул на ходу. Привычно веселило его утреннее чувство легкости, ловкости и молодости собственного тела. Усевшись, он победоносно осмотрелся налево и направо на соседей и, запрокинув голову, обернулся назад. Рядом с ним сидел старый татарин в чалме с кофейного цвета лицом, высоким выпуклым лбом и седой бородою. Меджид быстро заговорил с ним по-татарски, скаля радостно белые крепкие зубы и сияя черными счастливыми глазами.

## II

На набережной, около часовни, было у проводников нечто вроде биржи. Там они расхаживали по утрам вдоль каменного парапета, облакачивались на его перила в красивых, рассчитанно-небрежных позах, или сидели на скамейках, развалившись, выставив картинно вперед свои мускулистые ноги с упругими выпуклыми ляжками. Более пожилые и бедные из них были одеты в традиционный татарский костюм, состоящий из широкой рубашки – белой с чуть желтоватым оттенком, заправленной в широкие шаровары, перетянутые гораздо выше талии серебряным ремнем. У молодых же в этом году господствовала новая мода, введенная впервые Меметом, первым красавцем сезона, – синяя, тесная, короткая куртка из диагонального сукна, такие же рейтузы в обтяжку и

тонкие лакированные сапоги. Такая одежда не скрывала ни одной линии тела, а, наоборот, подчеркивала высоту груди, гибкость спины, тонкость талии и стройность длинных ног. Но, независимо от лет и богатства, каждый проводник носил на голове круглую, невысокую барашковую шапочку, а в руке символ проводнического звания – хлыст.

Это была настоящая живая выставка мужской красоты и молодости: прекрасные фигуры, матовая смуглость кожи, безукоризненно правильные очертания бровей, носов и губ, холеные черные усы и вьющиеся из-под сбитых набок шапок черные иссиня волосы, чудесные зубы, миндалевидные, темные, горячие южные глаза и гордые прямые шеи. Южный берег Крыма выслал сюда самые лучшие племенные образцы своей человеческой породы, происшедшей от необычайно счастливого смешения кровей: генуэзской, греческой и татарской.

Каждый день, проходя по набережной, толстые, пестро одетые московские купчихи-кутилки и наглые петербургские кокотки в рыжих искусственных локонах, со щеками, свинцовыми от пудры, разглядывали проводников сквозь лорнетты на длинных ручках, не торопясь, деловито и бесстыдно, как разглядывают опытные обжоры вкусный товар, разложенный за стеклом гастрономического магазина.

И молодые красавцы настойчиво выдерживали их взгляд, выпрямляя спины, делая внезапно серьезные, неподвижные глаза, мутные и обесмысленные, точно от страстного же-

лания. Иные насвистывали в эту минуту сквозь зубы с каким-то многозначительным выражением и щурили глаза, и покачивали головой, и выстукивали хлыстом такт мотива по лакированному голенищу. Другие, идя близко за плечом дамы, предлагали лошадей для экскурсий, но предлагали так таинственно, вполголоса, с зазывающей интонацией, точно дело шло о каком-то запретном, соблазнительном, но неприличном предприятии. Кумиром, недостижимым образцом был для Меджида проводник Мемет, и ему Меджид невольно старался подражать во всех внешних мелочах, в одежде, походке и манерах. Все, что касалось Мемета, было полно для Меджида героическим восхищением: и то, что он считался чрезвычайно образованным, почти ученым человеком, так как окончил четыре класса симферопольской гимназии, и то, что он носил отличное крахмаленное белье и множество брелоков и перстней, и то, что за ним уже бежала слава, в виде истории и легенды. Из-за Мемета подрались около морского музея две дамы – одна харьковская, другая москвичка, и обе купчихи; третью даму, жену известного коллекционера картин, Мемет сам, разыгрывая однажды сцену ревности и увлекшись, как хороший артист игрой, избил хлыстом в то время, когда она ехала в шарабане с другим проводником; с четвертой он взял две тысячи на излечение какой-то тайной болезни, а пятая купила его сестре, выходящей замуж, землю с домом, а кстати и Мемету подарила пару чудесных лошадей золотой масти «Изабелла» и ще-

гольской соломенный фаэтон с ацетиленовыми фонарями.

Мемет был глубоко начитанный человек. Однажды он даже прочитал целиком, с начала до конца – и это была истинная правда – «Героя нашего времени». Этот роман произвел на него сильное впечатление. С тех пор он нередко, прислонившись к фонарному столбу на набережной, скрещивал на груди руки, морщил лоб в суровые вертикальные складки, наискось закусывал нижнюю губу и загадочно устремлял глаза вдаль. В эту минуту он ни о чем не думал; думал о том, что вот извозчик проехал, а вот дама прошла в галантерейный магазин, ветка мимозы качается от ветра, но сам перед собою он делал вид, что его душа погружена в этакую мрачную, беспросветную бездну. С женщинами наедине он бывал нестерпимо груб, с мужчинами услужливо и даже подбостранно вежлив, но когда говорил одновременно с мужчиной и женщиной, то глядел не на мужчину, а на его даму. Курортные модницы вышивали ему туфли и шелковые подтяжки и были в восторге от сумасбродного ревнивца Мемета, от бешеного, вспльчивого Мемета, от красавца Мемета, с его разбитым и непонятным, но возвышенным сердцем. Таким они его захотели сделать, и таким Меметом он, в конце концов, стал считать самого себя.

Бедный Меджид и сам чувствовал, что ему далеко до его великолепного образца. Как он ни серьезничал, как ни принимал пластические, рассчитанно-красивые позы, как ни старался сделать свое лицо значительным и загадочным – ве-

селяя щенячья молодость брала верх. Ему любо было повозиться с другим проводником на тротуаре набережной, под жарким сорокаградусным солнцем, побежать за прохожим, кривляясь и передразнивая его походку, поплевать бесцельно в море, перегнувшись через перила, ограждающие набережную. Но, увидев в эти шаловливые секунды Мемета, он тотчас же начинал сам перед собою важничать и внутренне разыгрывал Мемета, что ему легко давалось при подвижном, живом, южном воображении. Он бескорыстно восхищался Меметом и беззлобно завидовал ему совершенно так же, как это делают гимназисты V класса по отношению к семикласснику, который уже и курит, и покучивает, и глядит на горничных свысока. Правда, и у Меджида в прошлом году был один очень серьезный роман, окончившийся даже увозом Меджида в Петербург, что, конечно, свидетельствовало о способности его внушать глупым северянкам пылкую любовь и что вообще хорошо поставило Меджида в среде проводников. Но тайная подкладка этого похищения была доподлинно известна только одному Меджиду, да и то сам перед собою он старался рисовать это приключение гораздо красивее и необыкновеннее, чем оно происходило в действительности.

### III

Просто-напросто в Ялту приехала жена богатого протои-

ерея петербургской епархии, толстая сорокалетняя женщина, с лицом, белым от природы и от пудры, как булка, с двумя сладкими черными изюминками вместо глаз и с маленьким, вздернутым ртом, ярко окрашенным в пунцовый цвет. Бог весть, каким тяжелым путем долголетнего клян-чанья, тайных сбережений в чулок из домашней экономии, притворных обмороков и слезливых припадков, капризных отказов отцу протопопу в разделении супружеского ложа, беготни по специальным докторам, этим всегдашним пособникам и соумышленникам сорокалетних женщин, каким длинным, плетеным путем женской хитрости и настойчивости досталась ей эта поездка. Еще с января рассчитывали деньги, включая сюда и возможный приход за весь Великий пост, меняли фунты и пуды церковных медяков на новенькие государственные билеты, разглядывали по будним вечерам всей семьей железнодорожный путеводитель, потом перед отъездом служили молебен о «в путь шествующих», вязали узелки с провизией и со всякой домашней требухой, на вокзале плакали и махали платками, и отец протопоп, забыв все свое внешнее благолепие, бежал по перрону рядом с идущим вагоном, – всхлипывая носом, развевая по ветру волосы, рукава и края рясы, придерживая одной рукой наперсный крест и крича: «В случае чего, телеграфируй».

Попадья на первых порах соблюдала в Крыму строгую, благоразумную экономию, поселилась где-то на горе, на краю города, в меблированных комнатах, похожих на те кле-

тушки, в которых шарманщики носят морских свинок, пере-  
знакомилась со множеством престарелых классных дам, учи-  
тельниц и больных студентов, уверявших, что в Крыму мож-  
но жить ни капельки не дороже, чем в Петербурге, тряслась  
вместе с ними в дилижансах, где они сидели друг на друге,  
едуци в горы и к водопаду, покупала на набережной кизиле-  
вые тросточки, сердоликовые печатки и раковинки с надпи-  
сью «Ялта» в подарок всем своим знакомым, карабкалась,  
обливаясь потом, по каким-то дурацким камням и тропин-  
кам, которые, оказывается, необходимо посетить каждому  
путешественнику, мазала краской свое имя на разных ска-  
лах, пила отвратительную густую бузу, ела холодный жест-  
кий шашлык, и – главное – все это у нее выходило очень де-  
шево. Море в Ялте пахло дохлой рыбой и йодом и было похо-  
же на грязную лоханку с глинистой водой, улицы воняли кон-  
ским навозом, от дешевых обедов язык и нёбо покрывались  
слоем бараньего сала, стройные красавцы кипарисы всегда  
были точно седые от мелкой пыли, в номерах пахло копотью  
керосинок и грязным бельем, но попадая на открытках, ко-  
торые она посылала по три и по четыре штуки в день всем  
своим знакомым подругам по епархиальному училищу, ко-  
торых она еще помнила, восторженно писала, что она насла-  
ждается чудным морским воздухом и бальзамическим бла-  
гоуханием горных лесов. И писала совершенно искренно.

Какая-то бойкая вдова-полковница однажды подбила ее  
проехать верхом, совсем недалеко, в Ореанду, к развали-

нам дворца. По романам, которые она читала в уличных петербургских газетах, по сплетням ялтинских салопниц и, наконец, по тем откровенным, многозначительным взглядам, которыми на набережной черноусые проводники упирались в ее пышный трясущийся бюст, она знала, что поездка с проводником заключает в себе нечто неприличное, рискованное... и заманчивое. Но полковница была такая «безусловно корректная женщина», а поездка оказалась такой совсем дешевой – по рублю с лошади и рубль проводнику, что странно было бы отказать себе в этом удовольствии.

Была маленькая боязнь за искусство держаться на седле, но протоиерейша храбро вспомнила, что когда-то в девичестве, на каникулах, она ездила на настоящем дамском седле в сопровождении двух лоботрясов, отчаянных гимназистов, сыновей местного помещика. Было также затруднение насчет амазонки. Напрокат Мария Николаевна не хотела брать: «Мало ли какая надевала ее до меня!» Но полковница быстро нашлась: стоило только прикупить материи, немножко надставить низ юбки, вшить внутрь несколько камешков-гладышей, и все готово: и незаметно, что подшито, и ног не будет видно, и не развевается, и прилично, и гораздо лучше, чем всякая настоящая амазонка.

Мария Николаевна, конечно, была убеждена, что уже с ней-то во всяком случае проводник ничего себе не позволит! И они поехали втроем: она, полковница и Меджид.

Но Меджид сразу же, как только выехали из города на



ливадийское шоссе, стал позволять себе многое: показывая, как надо держать мундштучные и уздечные поводья, он то и дело накладывал свои маленькие, горячие, жесткие руки сверх пухлых, белых, дрожавших пальцев попады, поддерживал ее обильную, массивную талию при крутых спусках и сверкал ей прямо в глаза своими глупыми, красивыми, сияющими глазами, и от всего от него крепко пахло, точно от молодого центавра, запахом здорового лошадиного и мужского пота.

Древний запутанный парк был темен, сыр и молчалив, и нельзя было разглядеть вершин его столетних деревьев, сплетшихся в черный сплошной потолок. Лунные пятна изредка лежали на траве и на заросших дорожках. Иногда сквозь просветы густых ветвей сверкало море, струившее далеко впереди свой золотой и серебряный атлас. Где-то журчали невидимые ручейки, бежавшие с гор. Было невиданно сказочно-прелестно и немного жутко от тишины и мрака и немного грустно и томно, как от всякой большой красоты. Осмотрели искусственное озеро, в черной воде которого, точно в черном воздухе, беззвучно и плавно, как заводной, плавал белый лебедь. Осмотрели мраморные развалины, поросшие плющом, кустами каприфолии, благоухавшей дико и страстно. Проводник показывал места, помогал идти, поддерживал под локоть, раздвигал услужливо ветви. Но, когда зашли в крытую виноградную аллею, такую темную, что нельзя было разглядеть собственной руки, полковница

внезапно исчезла. Напрасно Мария Николаевна кричала ей – спутница не отзывалась. В темноте приходилось идти ощупью, и руки протопопицы то и дело нечаянно натыкались на горячие руки проводника, и она даже на расстоянии чувствовала живую, точно дышащую теплоту его тела. Пряно благоухали каприфолии, как обезумевшие от ночной страсти кричали цикады, в груди ныло сладкое, истомное раздражение.

Потом они вышли из непроницаемо-темной аллеи наружу, туда, где было посветлее. Полковница тотчас же присодинилась к ним и пошла рядом, прижимаясь локтем к локтю Марии Николаевны, и жадно старалась сквозь темноту увидеть выражение ее глаз. Полковница находилась уже в том возрасте между зрелыми годами и старостью, в котором бывшие грешницы, со вздохом отказавшись от личных интрижек, становятся в чужих любовных делах или беспощадными сыщиками и судьями, или бескорыстными пособницами и укрывательницами. Полковница принадлежала ко вторым...

# Леночка

Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну, – в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное, – первый признак душевного увядания! – мысль о собственной смерти стала приходиться не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, – точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, по фамилии Возницын, – а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие,

мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.

Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкапу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине в одной домово́й церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал – так все перестроилось и изменилось за целую

четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью, очерствелая душа осталась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали...

«Да, да, да, это старость, – повторял он про себя и грустно кивал головою. – Старость, старость, старость... Ничего не поделаешь...»

После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале Страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру Страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.

В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда Бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.

Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», – подумал офицер с облегчением.

Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная – большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.

В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.

Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!..» – звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.

Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, бы-

ли весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки.

К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий, синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.

Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное – офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.

И вдруг, поравнявшись уже в двадцатый раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес:

– Простите мою дерзость... но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы или, вернее... что когда-то, очень давно, были знакомы.

Она была совсем некрасива – безбровая блондинка, по-



чти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестно изогнутыми линиями.

– И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись, – ответила она. – Моя фамилия – Львова. Это вам ничего не говорит?

– К сожалению, нет... А моя фамилия – Возницын.

Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницыну показалось – вот-вот он сейчас ее узнает.

– Возницын? Коля Возницын? – радостно воскликнула она, протягивая ему руку. – Неужели и теперь не узнаете? Львова – это моя фамилия по мужу... Но нет, нет, вспомните же наконец!.. Вспомните: Москва Поварская, Борисоглебский переулок – церковный дом... Ну? Вспомните своего товарища по корпусу... Аркашу Юрлова...

Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его.

– Господи... Неужели Леночка?.. Виноват... Елена... Елена...

– Владимировна. Забыли... А вы – Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля?.. Как странно! Какая странная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада...

– Да, – промолвил Возницын чью-то чужую фразу, – мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Александра Милиеина? Что Олечка?

В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей – Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на Пасху и Рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера и что офицер этот со странной фамилией Жёнишек – с ударением на первом слоге – как-то нелепо и неожиданно застрелился...

– Аркаша умер у нас в деревне в девяностом году, – говорила Львова. – У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерницей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии, и очень приличные. Я двадцать лет замужем, – она улыбнулась грустно сжатыми губами, одним углом рта, – старуха уж... Муж – помещик, член земской управы. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом... и за это слава Богу...

– А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то! – вдруг перебил ее Возницын.

Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.

– Какие глупости. Так... мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда вышла замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею...

– Ага! Вы все-таки ревновали меня немножко? – заметил Возницын с шутивным самодовольством.

– Вот уж ничуть... Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уже лет по семнадцать, тогда, пожалуй... мне немножко было досадно, что вы мне изменили... Вы знаете, это смешно, но у девчонок – тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим... Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете.

Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился, прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь уже поздно. Были, конечно, разные увлечения, были и серьезные романы.

Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памя-

ти Возницына быстро-быстро пронеслось прошлое, отделенное тридцатью годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по одиннадцати лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по десяти раз на дню происходили с Возницыным и Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться... Олечка держалась в стороне: она всегда отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в Благородное собрание, в театры, в цирк, на катки. Вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на Пасху яйца и рядились на Рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачки.

Так прошло три года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино, а когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от удивления. Она по-прежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который, Бог знает каким чудом, приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий дог, большерукую, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под ко-

торым чувствовалась горячая, весело текущая кровь, плечи округлились, обрисовались бедра и точные, твердые очертания груди, все тело стало гибким, ловким и грациозным.

И отношения как-то сразу переменялись. Переменялись после того, как в один из субботних вечеров, перед всеобщей, Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев, и медленно, удар за ударом, плыл редкий, меланхоличный звон большого колокола Борисоглебской церкви.

Они сильно обвили друг друга руками крест-накрест и, соединив их позади, за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно:

– Оставьте меня... пустите... Я не хочу... – И прибавила со злым взглядом влажных, блестящих глаз: – Гадкий мальчишка.

Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил под своими руками ее тонкую, послушную, женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам, он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких высоких девических груди и услышал за-

пах ее тела – тот радостный пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера, после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари и в воздухе гудят майские жуки.

Так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. «Совсем наш Коленька охалпел», – добродушно говорила про него Александра Милиевна.

Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере.

Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Е. и Ю. и вырезывал их

ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо, а Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой, с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но, как кошке, острящей свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно:

– Смотрите, Коля, я все маме расскажу.

И Возницын холодел от непритворного ужаса.

Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе, и, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на Пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства...

Пасхальную заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Ми-лиевны было даже свое почетное место, с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вме-

сте. Кажется, Александра Милиевна с Олечкой остались святить куличи и пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно быть, дипломатически исчез, точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем.

Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми, послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движение в церкви, а на улице – это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, эта неожиданная близость и затерянность на улице, среди толпы, в поздний предутренний час.

Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их, и пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убежали.

Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным, ради грязи, между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы – такие теплые,



нежные и живые.

– Леночка, я люблю, люблю вас...

Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду:

– Леночка, я люблю, люблю...

– Не надо, – сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. – Не надо... Пустите меня... пуст...

Милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы! Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуй и вздыхала как-то особенно трогательно – часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы.

– Леночка... Люблю...

– Оставьте меня...

– Леночка!

И вдруг она воскликнула неожиданно сердито:

– Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, вот я все, все, все маме расскажу. Непременно!

Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето...

– А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? – спросил Возницын.

– Ничего я не помню... Гадкий мальчишка, – ответила она, мило смеясь. – Однако смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю... Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь...

– Леночка большая и Леночка маленькая, – сказал Возницын.

– Нет, Леночка старенькая и Леночка молодая, – возразила спокойно, без горечи, Львова.

Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девические годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком, темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен.

Девушка заинтересовалась плавучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз.

А он... чем больше он глядел на нее, тем больше его серд-

це заволакивалось мягкой и светлой грустью – сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себялюбия.

И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки-старшей и осторожно поцеловал ее.

– Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам, – сказал он задумчиво. – И кроме того, жизнь прекрасна. Она – вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын... Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе – и мертвые и воскресающие.

Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебриющийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.

# Листригоны

## I. Тишина

В конце октября или в начале ноября Балаклава – этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи – начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду – на набережной и по узким улицам – в противном изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошенных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.

На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилают-

ся сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, непрерывно суча перед собой клубок ниток.

Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки – иступившиеся медные крючки, на которые, по-рыбачьему поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, шмолят и красят лодки, перевернутые вверх килем.

У каменных колодцев, где непрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение Богородицы на старинных византийских иконах.

И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековой привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив.

О дачниках нет и помину. Их точно и не было. Два-три хороших дождя – и смыта с улиц последняя память о них. И

все это бестолковое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам и с пылью от дамских юбок, и с жалким флиртом, и спорами на политические темы – все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбацкого поселка теперь сосредоточен только на рыбе.

В кофейнях у Ивана Юрьича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели; избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макрели, о кефали, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В девять часов весь город погружается в глубокий сон.

Нигде во всей России, – а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, – нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.

Выходишь на балкон – и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлопнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сузившись между двумя горами.

Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться.

На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона. Я знаю этот фонарь, я сотни раз проходил мимо него, прикасался к нему рукой. Но в странной тишине и в глубокой черноте этой осенней ночи я все яснее вижу и спину и морду древнего чудовища, и я чувствую, что его хитрый и злобный маленький раскаленный глаз следит за мною с затаенным чувством ненависти.

В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов. Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения. Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого чудовища целая английская флотилия, вместе с гордым щеголеватым кораблем «Black Prince»<sup>5</sup>, который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около ме-

---

<sup>5</sup> «Черный принц» (англ.).

ня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.

Старое чудовище в полусне шурит на меня свой маленький, острый, красный глаз. Оно представляется мне теперь старым-старым, забытым божеством, которое в этой черной тишине грезит своими тысячелетними снами. И чувство странной неловкости овладевает мною.

Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбачьих сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него – я знаю наверное – более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощеный переулок, или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак.



## II. Макрель

Идет осень. Вода холодеет. Пока ловится только маленькая рыба в мережки, в эти большие вазы из сетки, которые прямо с лодки сбрасываются на дно.

Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод.

Конечно, Юра Паратино – не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, – я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне.

Юра Паратино вот каков: это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленный грек, лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посередине – подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловче, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратино. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью – даже сам знаменитый Федор из Олеиза.

Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбацье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми.

Когда Юре говорят о том, что буря порвала его снасти, или что его баркас, наполненный доверху дорогой рыбой, захлестнуло волной и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь:

– А туда его, к чертовой матери! – И тотчас же точно забудет об этом.

Про Юру рыбаки говорят так:

– Еще макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод.

Завод – это сделанная из сети западня в десять сажен длиной и саженей пять в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает благодаря наклону сети в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет.

И вот, когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, вся Балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные маль-

чки день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся наготове. Из Севастополя приехали скупщики рыбы. Местный завод консервов prepares сараи для огромных партий.

Однажды ранним утром повсюду – по домам, по кофейням, по улицам – разносится, как молния, слух:

– Рыба пошла, рыба идет! Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиру и к Капитанаки. И уж, конечно, к Юре Паратино.

Все артели уходят на своих баркасах в море.

Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.

Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене, – таким образом, для ожидающих на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.

Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.

– Это Юра.

– Нет, Коля.

– Конечно, это Генали.

У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах,

и трое гребцов мерно и часто, все, как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к ним, гребет стоя; он руководит направлением баркаса.

Конечно, это Юра Паратино!

До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так как ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.

Тотчас начинается торг со скупщиками.

– Тридцать! – говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека.

Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу.

– Пятнадцать! – кричит грек и, в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони.

– Двадцать восемь!

– Восемнадцать!

Хлоп-хлоп...

– Двадцать шесть!

– Двадцать!

– Двадцать пять! – говорит хрипло Юра. – И у меня там еще идет один баркас.

А в это время из-за горла бухты показывается еще один

баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час десять и наконец пять и даже три рубля.

К вечеру вся Балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре – самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы.

А Юра Паратино – самый широкий человек во всей Балаклаве – заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбацьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику:

– Всем по чашке кофе!

Момент всеобщего молчания, изумления и восторга.

– С сахаром или без сахара? – спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный, черномазый Иван Юрьич.

Юра в продолжение одной секунды колеблется: чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять. Но он чужд мелочности. Сегодня последний пайщик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно:

– С сахаром. И музыку!..

Появляется музыка: кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные, унылые татарские

песни. На столах появляется молодое вино – розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом; от него страшно скоро пьянеешь, и на другой день болит голова.

А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью хватают правой рукой две, а левой три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет.

И на другой день еще приходят баркасы с моря.

Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой.

Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.

В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем.

### III. Воровство

Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами «молния». Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.

Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руку, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:

– Показывай, где север?

Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответ-

ствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этакий зверь!

Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни.

Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время, когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса:

– Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи.

Дифаны – это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажень шестьдесят длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, среднее с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних; наоборот, большая и крупная кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в Балаклаве есть такие сети.

Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи,



как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу.

То, что мы сейчас собираемся сделать, – без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережки. Лишь однажды в год, и то не больше как в продолжение трех дней, ловят ее всей Балаклавой в общественные сети. Это – неписанный закон, своего рода историческое табу.

Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яни приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками.

Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается храпенье дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносится множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные кам-

ни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся бриллиантов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня – одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят:

– Море горит!..

Другой косяк рыбы со страшной быстротой пронесется под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фыркание дельфина совсем близко. Наконец вот и он! Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же пронесется дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное, точно контуром, миллиардом блесков, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет.

Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать.

Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буюк всплывает наверх, едва заметно чернея на поверхности залива. Теперь совершенно без-

звучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буюк. Мы внутри замкнутого полукруга.

Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы *колдовать*, или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрять головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно, два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки.

И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его

из воды.

Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль.

– Вот так рыба! – шепчет он мне.

Яни тихо останавливает его.

Когда их работа кончена и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканием летят в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет.

А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыба чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христо, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет да и намекнет на наше предприятие.

– А я сейчас шел по набережной... Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! – И метнет на нас лукавым, горящим черным глазом.

Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе:

– Тысячи две, и все самые крупные. Я вам снес три десятка.

Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством.

## IV. Белуга

Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и беспокойно плещется в этой белой, тихой раме.

На всем крымском побережье – в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе – рыбаки готовятся на белугу. Чистятся рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по полупуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся переметы.

Набожный рыбак Федор из Олеиза задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая-угодника, Мир Ликийских чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год, и потому еще, что за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки.

И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крым-

ского полуострова под парусами в море.

Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. «С Богом! Дай Бог! С Богом!» Падает вниз освобожденный парус и, похлопав нерешительно в воздухе, вдруг надувается, как выпуклое, острое, торчащее концом вверх белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, плавно выносится из устья бухты в открытое море. Вода шипит и пенится за бортом и брызжет внутрь, а на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает верченую папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десятков копченых рыб и бочонок с водой.

Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собою вот что такое: вообразите себе, что по морскому дну, на глубине сорока сажен, лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючки мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях, на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые (сотня бутылочных пробок, обвернутых сеткой), с красными флажками наверху.

Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти осязая, все не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.

На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега, так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольной монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд.

Определили место. Выбрасывают на веревке в море первый камень, устанавливают глубину, привязывают буюк и от него идут на веслах вперед на всю длину перемета, который атаман с необычайной быстротой выматывает из корзины. Опускают второй камень, пускают на воду второй буюк – и дело окончено. Возвращаются домой на веслах или, если ветер позволяет лавировать, под парусом. На другой день, или через день, идут опять в море и вытаскивают снасть. Если



Богу или случаю угодно, на крючьях окажется белуга, проглотившая приманку – огромная остроносая рыба, вес которой достигает десяти – двадцати, а в редких случаях даже тридцати и более пудов.

Так-то вот и вышел однажды ночью из бухты Ваня Андруцаки на своем баркасе. По правде сказать, никто не ожидал добра от такого предприятия.

Старый Андруцаки умер прошлой весной, а Ваня был слишком молод, и, по мнению опытных рыбаков, ему следовало бы еще года два побыть простым гребцом да еще год помощником атамана. Но он набрал свою артель из самой зеленой и самой отчаянной молодежи, сурово прикрикнул, как настоящий хозяин, на занывшую было старуху мать, изругал ворчливых стариков соседей гнусными матерными словами и вышел в море пьяный, с пьяной командой, стоя на корме со сбитой лихо на затылок барашковой шапкой, из-под которой буйно выбивались на загорелый лоб курчавые, черные, как у пуделя, волосы.

В эту ночь на море дул крепкий береговой и шел снег. Некоторые баркасы, выйдя из бухты, вскоре вернулись назад, потому что греческие рыбаки, несмотря на свою многовековую опытность, отличаются чрезвычайным благоразумием, чтобы не сказать трусостью. «Погода не пускает», – говорили они.

Но Ваня Андруцаки возвратился домой около полудня с баркасом, наполненным самой крупной белугой, да, кроме

того, еще приволок на буксире огромную рыбину, чудовище в двадцать пудов весом, которое артель долго добивала деревянными колотушками и веслами.

С этим великаном пришлось порядочно-таки помучиться. Про белугу рыбаки говорят, что надо только подтянуть ее голову в уровень с бортом, а там уж рыба сама вскочит в лодку. Правда, иногда при этом она могучим всплеском хвоста сбивает в воду неосторожного ловца. Но бывают изредка при белужьей ловле и более серьезные моменты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. Так и случилось с Ваней Андруцаки.

Стоя на самом носу, который то взлетал на пенистые бугры широких волн, то стремительно падал в гладкие водяные зеленые ямы, Ваня размеренными движениями рук и спины выбирал из моря перемет. Пять белужонков, попавшихся с самого начала, почти один за другим, уже лежали неподвижно на дне баркаса, но потом ловля пошла хуже: сто или полтора ста крючков подряд оказались пустыми, с нетронутой наживкой.

Артель молча гребла, не спуская глаз с двух точек на берегу, указанных атаманом. Помощник сидел у ног Вани, освобождая крючки от наживки и складывая веревку в корзину правильным бунтом. Вдруг одна из пойманных рыб судорожно встрепенулась.

– Бьет хвостом, поджидает подругу, – сказал молодой рыбак Павел, повторяя старую рыбацью примету.

И в ту же секунду Ваня Андруцаки почувствовал, что огромная живая тяжесть, вздрагивая и сопротивляясь, повисла у него на натянувшемся вкось перемете, в самой глубине моря. Когда же, позднее, наклонившись за борт, он увидел под водой и все длинное, серебряное, волнующееся, рябящее тело чудовища, он не удержался и, обернувшись назад к артели, прошептал с сияющими от восторга глазами:

– Здоровая!.. Как бык!.. Пудов на сорок...

Этого уж никак не следовало делать! Спаси Бог, будучи в море, предупреждать события или радоваться успеху, не дойдя до берега. И старая таинственная примета тотчас же оправдалась на Ване Андруцаки. Он уже видел не более как в полуаршине от поверхности воды острую, утлую костистую морду и, сдерживая бурное трепетание сердца, уже готовился подвести ее к борту, как вдруг... могучий хвост рыбы плеснул сверх волны, и белуга стремительно понеслась вниз, увлекая за собою веревку и крючки.

Ваня не растерялся. Он крикнул рыбакам: «Табань!» – скверно и очень длинно выругался и принялся травить перемет вслед убежавшей рыбе. Крючки так и мелькали в воздухе из-под его рук, шлепаясь в воду. Помощник пособлял ему, выпрастывая снасть из корзины. Гребцы налегли на весла, стараясь ходом лодки опередить подводное движение рыбы. Это была страшно быстрая и точная работа, которая не всегда кончается благополучно. У помощника запуталось несколько крючков. Он крикнул Ване: «Стоп травить!» – и

принялся распутывать снасть с той быстротой и тщательно-стью, которая в минуты опасности свойственна только морским людям. В эти несколько секунд перемет в руке Вани натянулся, как струна, и лодка скакала, точно бешеная, с волны на волну, увлекаемая ужасным бегом рыбы и подгоняемая вслед за ней усилиями гребцов.

«Трави!» – крикнул наконец помощник. Веревка с необычной быстротой вновь побежала из ловких рук атамана, но вдруг лодку дернуло, и Ваня с глухим стоном выругался: медный крючок с размаха вонзился ему в мякоть ладони под мизинцем и засел там во всю глубину извива. И тут-то Ваня показал себя настоящим соленым рыбаком. Обмотав перемет вокруг пальцев раненой руки, он задержал на секунду бег веревки, а другой рукой достал нож и перерезал шпагат. Крючок крепко держался в руке своим жалом, но Ваня вырвал его с мясом и бросил в море. И хотя обе руки и веревка перемета сплошь окрасились кровью и борт лодки и вода в баркасе покраснели от его крови, он все-таки довел свою работу до конца и сам нанес первый оглушающий удар колотушкой по башке упрямой рыбе.

Его улов был первым белужьим уловом этой осени. Артель продала рыбу по очень высокой цене, так что на каждый пай пришлось почти до сорока рублей. По этому случаю было выпито страшное количество молодого вина, а под вечер весь экипаж «Георгия Победоносца» – так назывался Ванин баркас – отправился на двуконном фэртоне с музыкой в Се-

вастопись. Там храбрые балаклавские рыбаки вместе с флотскими матросами разнесли на мелкие кусочки фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в публичном доме, потом передрались между собой и только к свету вернулись домой пьяные, в синяках, но с песнями. И только что вылезли из коляски, как тотчас же свалились в лодку, подняли парус и пошли в море забрасывать крючья.

С этого самого дня за Ваней Андруцаки установилась слава как за настоящим соленым атаманом.

## V. Господня рыба

### Апокрифическое сказание

Эту прелестную древнюю легенду рассказал мне в Балаклаве атаман рыбацкого баркаса Коля Констанди, настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница.

Он в то время учил меня всем премудрым и странным вещам, составляющим рыбацью науку.

Он показывал мне, как вязать морские узлы и чинить прорванные сети, как наживлять крючки на белугу, набрасывать и промывать мережки, кидать наметку на камсу, выпрастывать кефаль из трехстенных сетей, жарить лобана на шкаре, отковыривать ножом петалиди, приросших к скале, и есть сырыми креветок, узнавать ночную погоду по дневному прибою, ставить парус, выбирать якорь и измерять глубину дна.

Он терпеливо объяснял мне разницу между направлением и свойствами ветров: леванти, гребалеванти, широко, тремонтана, страшного бора, благоприятного морского и капризного берегового.

Ему же я обязан знанием рыбацких обычаев и суеверий во время ловли: нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее; хорошо оставлять в снасти как будто нечаянно забытую рыбешку – это приносит сча-

сть; спаси Бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море, но всего ужаснее, непростительнее и зловреднее – это спросить рыбака: «Куда?» За такой вопрос бьют.

От него я узнал о ядовитой рыбке дракус, похожей на мелкую скумбрию, и о том, как ее снимать с крючка, о свойстве морского ерша причинять нарывы уколом плавников, о страшном двойном хвосте электрического ската и о том, как искусно выедает морской краб устрицу, вставив сначала в ее створку маленький камешек.

Но немало также я слышал от Коли диковинных и таинственных морских рассказов, слышал в те сладкие, тихие ночные часы ранней осени, когда наш ялик нежно покачивался среди моря, вдали от невидимых берегов, а мы, вдвоем или втроем, при желтом свете ручного фонаря, не торопясь, попивали молодое розовое местное вино, пахнувшее свежераздавленным виноградом.

«Среди океана живет морской змей в версту длиною. Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверхность и дышит. Он одинок. Прежде их было много, самцов и самок, но столько они делали зла мелкой рыбешке, что Бог осудил их на вымирание, и теперь только один старый, тысячелетний змей-самец сиротливо доживает свои последние годы. Прежние моряки видели его то здесь, то там – во всех странах света и во всех океанах.

Живет где-то среди моря, на безлюдном острове, в глубо-

кой подводной пещере царь морских раков. Когда он ударяет клешней о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение.

Рыбы говорят между собой – это всякий рыбак знает. Они сообщают друг другу о разных опасностях и человеческих ловушках, и неопытный, неловкий рыбак может надолго испортить счастливое место, если выпустит из сетей рыбу».

Слышал я также от Коли о Летучем Голландце, об этом вечном скитальце морей, с черными парусами и мертвым экипажем. Впрочем, эту страшную легенду знают и ей верят на всех морских побережьях Европы.

Но одно далекое предание, рассказанное им, особенно тронуло меня своей наивной рыбацкой простотой.

Однажды на заре, когда солнце еще не всходило, но небо было цвета апельсина и по морю бродили розовые туманы, я и Коля вытягивали сеть, поставленную с вечера поперек берега на скумбрию. Улов был совсем плохой. В ячейке сети запутались около сотни скумбрий, пять-шесть ершей, несколько десятков золотых толстых карасиков и очень много студенистой перламутровой медузы, похожей на огромные бесцветные шляпки грибов со множеством ножек.

Но попалась также одна очень странная, не виданная мною доселе рыбка. Она была овальной, плоской формы и уместилась бы свободно на женской ладони. Весь ее контур был окружен частыми, мелкими, прозрачными ворсинками.



Маленькая голова, и на ней совсем не рыбы глаза – черные, с золотыми ободками, необыкновенно подвижные. Тело ровного золотистого цвета. Всего же поразительнее были в этой рыбке два пятна, по одному с каждого бока, посредине, величиною с гривенник, но неправильной формы и чрезвычайно яркого небесно-голубого цвета, какого нет в распоряжении художника.

– Посмотрите, – сказал Коля, – вот господня рыба. Она редко попадается.

Мы поместили ее сначала в лодочный черпак, а потом, возвращаясь домой, я налил морской воды в большой эмалированный таз и пустил туда господню рыбу. Она быстро заплывала по окружности таза, касаясь его стенок, и все в одном и том же направлении. Если ее трогали, она издавала чуть слышный, короткий, храпящий звук и усиливала беспрестанный бег. Черные глаза ее вращались, а от мерцающих бесчисленных ворсинок быстро дрожала и струилась вода.

Я хотел сохранить ее, чтобы отвезти живой в Севастополь, в аквариум биологической станции, но Коля сказал, махнув рукой:

– Не стоит и трудиться. Все равно не выживет. Это такая рыба. Если ее хоть на секунду вытащить из моря – ей уже не жить. Это господня рыба.

К вечеру она умерла. А ночью, сидя в ялике, далеко от берега, я вспомнил и спросил:

– Коля, а почему же эта рыба – господня?

– А вот почему, – ответил Коля с глубокой верой. – Старые греки у нас рассказывают так. Когда Иисус Христос, Господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить и боялись.

Отказались от него ученики, отказались апостолы, отказались жены-мироносицы. Тогда приходит он к своей матери. А она в это время стояла у очага и жарила на сковородке рыбу, приготавливая обед себе и близким. Господь говорит ей:

– Здравствуй! Вот я, твой сын, воскресший, как было сказано в Писании. Мир с тобою.

Но она задрожала и воскликнула в испуге:

– Если ты подлинно сын мой Иисус, сотвори чудо, чтобы я уверовала.

Улыбнулся Господь, что она не верит ему, и сказал:

– Вот я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживет. Поверишь ли ты мне тогда?

И едва он, прикоснувшись своими двумя пальцами к рыбе, поднял ее на воздух, как она затрепыхалась и ожила.

Тогда уверовала мать Господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы Господних пальцев.

Так рассказывал простой, немудрый рыбак наивное давнее сказание. Спустя же несколько дней я узнал, что у господней рыбы есть еще другое название – Зевсова рыба. Кто скажет: до какой глубины времен восходит тот апокриф?

## VI. Бора

О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки.

Третьи сутки дует бора. Бора – иначе норд-ост – это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженные товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни.

Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать – это самый капризный ветер на самом капризном из морей.

Старые рыбаки говорят, что единственное средство спа-

стись от него – это «удирать в открытое море». И бывают случаи, что бора уносит какой-нибудь четырехгребный баркас или голубую, разукрашенную серебряными звездами турецкую фелюгу через все Черное море, за триста пятьдесят верст, на Анатолийский берег.

Третьи сутки дует бора. Новолуние. Молодой месяц, как и всегда, рождается с большими мучениями и трудом. Опытные рыбаки не только не думают о том, чтобы пуститься в море, но даже вытащили свои баркасы подальше и понадежнее на берег.

Один лишь отчаянный Федор из Олеиза, который за много дней перед этим теплил свечу перед образом Николая Чудотворца, решил выйти, чтобы поднять белужью снасть.

Три раза со своей артелью, состоявшей исключительно из татар, отплывал он от берега и три раза возвращался обратно на веслах с большими усилиями, проклятиями и богохульствами, делая в час не более одной десятой морского узла. В бешенстве, которое может быть понятно только моряку, он срывал прикрепленный на носу образ Николая, Мир Ликийских чудотворца, швырял его на дно лодки, топтал ногами и мерзко ругался, а в это время его команда шапками и горстями вычерпывала воду, хлеставшую через борт.

В эти дни старые, хитрые балаклавские листригоны сидели по кофейням, крутили самодельные папиросы, пили крепкий бобковый кофе с гущей, играли в домино, жаловались на то, что погода не пускает, и в уютном тепле, при све-

те висячих ламп, вспоминали древние легендарные случаи, наследие отцов и дедов, о том, как в таком-то и в таком-то году морской прибой достигал сотни сажений вверх и брызги от него долетали до самого подножия полуразрушенной Генуэзской крепости.

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьмеро каких-то белобрых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильменя, не то с Волги искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц... тц... тц... конечно, дураки, разве можно в такую погоду? Известно – русские». В предутренний час темной ревущей ночи пошли они все, как камни, на дно в своих коневых сапогах до пояса, в кожаных куртках, в крашенных желтых непромокаемых плащах.

Совсем другое дело было, когда перед борой вышел в море Ваня Андруцаки, наплевав на все предостережения и угрозы старых людей. Бог его знает, зачем он это сделал? Вернее всего из мальчишеского задора, из буйного молодого самолюбия, немножко под пьяную руку. А может быть, на него любовалась в эту минуту красногубая, черноглазая гречанка?

Поднял парус, – а ветер уже и в то время был очень свежий – и только его и видели! Со скоростью хорошего призового рысака вынеслась лодка из бухты, помаячила минут

пять своим белым парусом в морской синеве, и сейчас же нельзя было разобрать, что там вдали белеет: парус или белые барашки, скакавшие с волны на волну?

А вернулся он домой только через трое суток... Трое суток без сна, без еды и питья, днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще сутки, в крошечной скорлупке, среди обезумевшего моря – и вокруг ни берега, ни паруса, ни маячного огня, ни пароходного дыма! А вернулся Ваня Андруцаки домой – и точно забыл обо всем, точно ничего с ним и не было, точно он съездил на мальпосте в Севастополь и купил там десяток папирос.

Были, правда, некоторые подробности, которые я с трудом выдавил из Ваниной памяти. Например, с Юрой Липиади случилось на исходе вторых суток нечто вроде истерического припадка, когда он начал вдруг ни с того ни с сего плакать и хохотать и совсем уже было выпрыгнул за борт, если бы Ваня Андруцаки вовремя не успел ударить его рулевым веслом по голове. Был также момент, когда артель, напуганная бешеным ходом лодки, захотела убрать парус, и Ване стоило, должно быть, больших усилий, чтобы сжать в кулак волю этих пяти человек и, перед дыханием смерти, заставить их подчиниться себе. Кое-что я узнал и о том, как кровь выступала у гребцов из-под ногтей от непомерной работы. Но все это было рассказано мне отрывками, нехотя, вскользь. Да! Конечно, в эти трое суток напряженной, судорожной борьбы со смертью было много сказано и сделано та-

кого, о чем артель «География Победоносца» не расскажет никому, ни за какие блага, до конца дней своих!

В эти трое суток ни один человек не сомкнул глаз в Балаклаве, кроме толстого Петалиди, хозяина гостиницы «Париж». И все тревожно бродили по набережной, лазили на скалы, взбирались на Генуэзскую крепость, которая высится своими двумя древними зубцами над городом, – все: старики, молодые, женщины и дети. Полетели во все концы света телеграммы: начальнику черноморских портов, местному архиерею, на маяки, на спасательные станции, морскому министру, министру путей сообщения, в Ялту, в Севастополь, в Константинополь и Одессу, греческому патриарху в Дамаске, который случайно оказался знакомым одному балаклавскому греку-аристократу, торгующему мукой и цементом.

Проснулась древняя, многовековая спайка между людьми, кровное товарищеское чувство, так мало заметное в буднишные дни среди мелких расчетов и житейского сора, заговорили в душах тысячелетние голоса прапрапращуров, которые задолго до времен Одиссея вместе отстаивались от бобы в такие же дни и такие же ночи.

Никто не спал. Ночью развели огромный костер наверху горы, и все ходили по берегу с огнями, точно на Пасху. Но никто не смеялся, не пел, и опустели все кофейни.

Ах, какой это был восхитительный момент, когда утром, часов около восьми, Юра Паратино, стоявший наверху скалы над Белыми Камнями, прищурился, нагнулся вперед, вце-

пился своими зоркими глазами в пространство и вдруг крикнул:

– Есть! Идут!

Кроме Юры Паратино, никто не разглядел бы лодки в этой черно-синей морской дали, которая колыхалась тяжело и еще злобно, медленно утихая от недавнего гнева. Но прошло пять, десять минут, и уже любой мальчишка мог удостовериться в том, что «Георгий Победоносец» идет, лавируя под парусом, к бухте. Была большая радость, соединившая сотню людей в одно тело и в одну душу!

Перед бухтой они опустили парус и вошли на веслах, вошли, как стрела, весело напрягая последние силы, вошли, как входят рыбаки в залив после отличного улова белуги. Кругом плакали от счастья: матери, жены, невесты, сестры, братишки. Вы думаете, что хоть один рыбак из артели «Георгия Победоносца» размяк, расплакался, полез целоваться или рыдать на чьей-нибудь груди? Ничуть! Они все шестеро, еще мокрые, осипшие и обветренные, ввалились в кофейную Юры, потребовали вина, орали песни, заказали музыку и плясали, как сумасшедшие, оставляя на полу лужи воды. И только поздно вечером товарищи разнесли их, пьяных и усталых, по домам; и спали они без просыпу по двадцати часов каждый. А когда проснулись, то глядели на свою поездку в море ну вот так, как будто бы они съездили на мальпосте в Севастополь на полчаса, чуть-чуть кутнули там и вернулись домой.



## VII. Водолазы

### 1

В Балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен крымской кампании не заходил ни один пароход, кроме разве миноносок на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбацьем полупоселке-полугородке? Единственный груз – рыбу – скупают на месте перекупщики и везут на продажу за тринадцать верст, в Севастополь; из того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники на мальпосте за пятьдесят копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно бегаёт между Ялтой и Алушкой, пыхтя, как зарывшая собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями.

Зато во время севастопольской осады голубая прелестная бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей союзной флотилии. От этой героической эпохи остались и до сих пор кое-какие достоверные следы: крутая дорога в балке Кефало-Вриси, проведенная английскими саперами, итальянское кладбище наверху балаклавских гор между виноградниками, да еще при плантаже земли под виноград время от времени откапывают короткие гипсовые и костяные трубочки, из которых более чем полвека тому назад курили табак союзные солдаты.

Но легенда цветет пышнее. До сих пор балаклавские греки убеждены, что только благодаря стойкости их собственного балаклавского батальона смог так долго продержаться Севастополь. Да! В старину населяли Балаклаву железные и гордые люди. Об их гордости устное предание удержало замечательный случай.

Не знаю, бывал ли когда-нибудь покойный император Николай I в Балаклаве. Думаю всячески, что во время Крымской войны он вряд ли, за недостатком времени, заезжал туда. Однако живая история уверенно повествует о том, как на смотру, подъехав на белом коне к славному балаклавскому батальону, грозный государь, пораженный воинственным видом, огненными глазами и черными усищами балаклавцев, воскликнул громовым и радостным голосом:

– Здорово, ребята!

Но батальон молчал.

Царь повторил несколько раз свое приветствие, все в более и более гневном тоне. То же молчание! Наконец совсем уже рассерженный, император наскочил на батальонного начальника и воскликнул своим ужасным голосом:

– Отчего же они, черт их побери, не отвечают? Кажется, я по-русски сказал: «Здорово, ребята!»

– Здесь нет ребята, – ответил кротко начальник. – Здесь сё капитаны...

Тогда Николай I рассмеялся – что же ему оставалось еще делать? – и вновь крикнул:

– Здравствуйте, капитаны!

И храбрые листригоны весело заорали в ответ: – Кали мера (добрый день), ваше величество! Так ли происходило это событие, или не так, и вообще происходило ли оно в действительности, судить трудно, за неимением веских и убедительных исторических данных. Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки – родом из Балаклавы.

## 2

Но самыми яркими и соблазнительными цветами украшено сказание о затонувшей у Балаклавы английской эскадре. Темной зимней ночью несколько английских судов на-

правлялись к балаклавской бухте, ища спасения от бури. Между ними был прекрасный трехмачтовый фрегат «Black Prince», везший деньги для уплаты жалованья союзным войскам. Шестьдесят миллионов рублей звонким английским золотом! Старикам даже и цифра известна с точностью.

Те же старики говорят, что таких ураганов теперь уже не бывает, как тот, что свирепствовал в эту страшную ночь! Громадные волны, ударяясь об отвесные скалы, всплескивали наверх до подножия Генуэзской башни – двадцать сажен высоты! – и омывали ее серые старые стены. Эскадра не сумела найти узкого входа в бухту или, может быть, найдя, не смогла войти в него. Она вся разбилась об утесы и вместе с великолепным кораблем «Black Prince» и с английским золотом пошла ко дну около Белых Камней, которые и теперь еще внушительно торчат из воды там, где узкое горло бухты расширяется к морю, с правой стороны, если выходишь из Балаклавы.

Теперешние пароходы совершают свои рейсы далеко от бухты, верстах в пятнадцати – двадцати. С Генуэзской крепости едва различишь кажущийся неподвижным темный корпус парохода, длинный хвост серого тающего дымка и две мачты, стройно наклоненные назад. Зоркий рыбачий глаз, однако, почти безошибочно разбирает эти суда по каким-то приметам, непонятым нашему опыту и зрению. «Вот идет грузовой из Евпатории... Это Русского общества, а это Российский... это Кошкинский... А это валяет по мерт-

вой зыби «Пушкина» – его и в тихую погоду валяет...»

### 3

И вот однажды, совсем неожиданно, в бухту вошел огромный, старинной конструкции, необыкновенно грязный итальянский пароход «Genova»<sup>6</sup>. Случилось это поздним вечером, в ту пору осени, когда почти все курортные жильцы уже разъехались на север, море еще настолько тепло, что настоящая рыбная ловля пока не начиналась, когда рыбаки, не торопясь, чинят сети и заготавливают крючки, играют в домино по кофейням, пьют молодое вино и вообще предаются временному легкому кейфу.

Вечер был тихий и темный, с большими спокойными звездами на небе и в спящей воде залива. Вдоль набережной зажигались желтыми точками цепи фонарей. Закрывались светлые четырехугольники магазинов. Легкими черными силуэтами медленно двигались по улицам и по тротуару люди...

И вот, не знаю кто, кажется мальчишки, игравшие наверху у Генуэзской башни, принесли известие, что с моря завернул и идет к бухте какой-то пароход.

Через несколько минут все коренное мужское население было на набережной. Известно, что грек – всегда грек

---

<sup>6</sup> «Генуя» (итал.).

и, значит, прежде всего любопытен. Правда, в балаклавских греках чувствуется, кроме примеси позднейшей генуэзской крови, и еще какая-то таинственная, древняя, – по чем знать, – может быть, даже скифская кровь – кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбацкого гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур; попадаются правильные, благородные лица; нередко встречаются блондины и даже голубоглазые; балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без нелепого риска, хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово. Положительно – это особая исключительная порода греков, сохранившаяся главным образом потому, что их предки чуть не сотнями поколений родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую типичную черту, которой они отличались еще при Перикле, – любопытство и страсть к новостям.

Медленно, сначала показавшись лишь передовым крошечным огоньком из-за крутого загиба бухты, вплывал пароход в залив. Издали в густой теплой темноте ночи не было видно его очертаний, но высокие огни на мачтах, сигнальные огни на мостике и ряд круглых светящихся иллюминаторов вдоль борта позволяли догадываться о его размерах и формах. В виду сотен лодок и баркасов, стоявших вдоль набережной, он едва заметно подвигался к берегу, с той вни-

мательной и громоздкой осторожностью, с какой большой и сильный человек проходит сквозь детскую комнату, заставленную хрупкими игрушками.

Рыбаки делали предположения. Многие из них плавали раньше на судах коммерческого, а чаще военного флота.

– Что ты мне будешь говорить? Разве я не вижу? Конечно, – грузовой Русского общества.

– Нет, это не русский пароход.

– Верно, испортилось что-нибудь в машине, зашел чиниться.

– Может быть, военное судно?

– Скажешь!

Один Коля Констанди, долго плававший на канонерской лодке по Черному и Средиземному морям, угадал верно, сказав, что пароход итальянский. И то угадал он это только тогда, когда пароход совсем близко, сажен на десять, подошел к берегу и можно было рассмотреть его облинявшие, облупленные борта, с грязными потеками из люков, и разношерстную команду на палубе.

С парохода взвился спиралью конец каната и, змеей развертываясь в воздухе, полетел на головы зрителей. Всем известно, что ловко забросить конец с судна и ловко поймать его на берегу считается первым условием своеобразного морского шика. Молодой Апостолиди, не выпуская изо рта папироски, с таким видом, точно он сегодня проделывает это в сотый раз, поймал конец на лету и тут же небрежно,

но уверенно замотал его вокруг одной из двух чугунных пушек, которые с незапамятных времен стоят на набережной, врытые стоймя в землю.

От парохода отошла лодка. Три итальянца выскочили из нее на берег и завозились около канатов. На одном из них был суконный берет, на другом – картуз с прямым четырехугольным козырьком, на третьем – какой-то вязанный колпак. Все они были маленькие крепыши, проворные, цепкие и ловкие, как обезьяны. Они бесцеремонно расталкивали плечами толпу, тараторили что-то на своем быстром, певучем и нежном гёнуэзском наречии и перекрикивались с пароходом. Все время на их загорелых лицах смеялись дружелюбно и фамильярно большие черные глаза и сверкали белые молодые зубы.

– Бона сера... итальяно... маринаро!<sup>7</sup> – одобрительно сказал Коля.

– Oh! Buona sera, signore!<sup>8</sup> – весело, разом отозвались итальянцы.

Загремела с визгом якорная цепь. Забурлило и заклокотало что-то внутри парохода. Погасли огни в иллюминаторах. Через полчаса итальянских матросов спустили на берег.

Итальянцы – все как на подбор, низкорослые, чернолицые и молодые – оказались общительными и веселыми молодцами. С какой-то легкой, пленительной развязностью заигры-

---

<sup>7</sup> Привет... итальянцы... моряки (*итал.*).

<sup>8</sup> О! Привет, господин! (*итал!*)



вали они в этот вечер в пивных залах и в винных погребах с рыбаками. Но балаклавцы встретили их сухо и сдержанно. Может быть, они хотели дать понять этим чужим морякам, что заход иностранного судна в бухту вовсе был для них не в редкость, что это случается ежедневно, и, стало быть, нечего тут особенно удивляться и радоваться. Может быть, в них говорил маленький местный патриотизм?

И – ах! – нехорошо они в этот вечер подшутили над славными, веселыми итальянцами, когда те, в своей милой международной доверчивости, тыкали пальцами в хлеб, вино, сыр и в другие предметы и спрашивали их названия по-русски, скаля ласково свои чудные зубы. Таким словам научили хозяева своих гостей, что каждый раз потом, когда генуэзцы в магазине или на базаре пробовали объясняться по-русски, то приказчики падали от хохота на свои прилавки, а женщины стремглав бросались бежать куда попало, закрывая от стыда головы платками.

И в тот же вечер – Бог весть каким путем, точно по невидимым электрическим проводам – облетел весь город слух, что итальянцы пришли нарочно для того, чтобы поднять затонувший фрегат «Black Prince» вместе с его золотом и что их работа продолжится целую зиму.

верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелые, древние, белые, согбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото; приезжали и сами англичане и какие-то фантастические американцы, ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что могли поделывать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные, прежние, героические балаклавцы потерпели здесь неудачу? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спиро. Он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот этот Спиро, зажав между ногами камень в три пуда весом, опускался у Белых Камней на глубину сорока сажен, на дно, где покоятся останки затонувшей эскадры. И Спиро все видел: и корабль и золото, но взять оттуда с собой не мог... *не пускает.*

– Вот бы Сашка Комиссионер попробовал, – лукаво замечал кто-нибудь из слушателей. – Он у нас первый ныряльщик.

И все вокруг смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый, прекрасный рот сам Сашка Аргириди, или Сашка Комиссионер, как его называют.

Этот парень – голубоглазый красавец с твердым античным профилем – в сущности, первый лентяй, плут и шут на

всем Крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгаре сезона он возьмет и пришьет себе на ободок картуза пару золотых позументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости гостиницы, прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной дерзостью, забежит на минутку в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом, «как слонов», уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки – остаток древней греческой вазы, которая была сделана еще до Рождества Христова... или сует им в нос обыкновенный овальный и тонкий голыш с провернутой вверху дыркой, из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая-угодника и спасающего от бури.

Но самый лучший его номер – подводный. Катая простодушную публику по заливу и наслушавшись вдоволь, как она поет «Нелюдимо наше море» и «Вниз по матушке по Волге», он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном Спиро и вообще о нырянии. Но четверть часа под водой – это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты это еще куда ни шло, это можно, пожа-

луй, допустить... но пятнадцать!.. Сашка задет за живое... Сашка обижен в своем национальном самолюбии... Сашка хмурится... Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и пробудет под водой ровно десять минут.

– Правда, это трудно, – говорит он не без мрачности. – Вечером у меня будет идти кровь из ушей и из глаз... Но я никому не позволю говорить, что Сашка Аргириди хвостун.

Его уговаривают, удерживают, но ничто уже теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и бух – с шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако, предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни.

Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под килем и по дну плывет прямехонько в купальню. И в то время, когда на лодке подымается общая тревога, взаимные упреки, аханье и всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурочок. И таким же путем совершенно неожиданно Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему облегчению и восторгу.

Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка. Но надо сказать, что руководит Сашкой в его проделках вовсе не алчность к деньгам, а мальчишеская, безумная веселая проказливость.

## 5

Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда: они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и – если обстоятельства позволят – поднять со дна все наиболее ценное, – главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппе Рестуччи – изобретатель особого подводного аппарата, высокий пожилой молчаливый человек, всегда одетый в серое, с серым длинным лицом и почти седыми волосами, с бельмом на одном глазу, – в общем, гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице, на набережной и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином кианти и стихами своего любимого поэта Стекетти.

«Женская любовь, точно уголь, который, когда пламенеет, то жжется, а холодный – грязнит!»

И хотя он это все говорил по-итальянски, своим сладким и певучим генуэзским акцентом, но и без перевода смысл стихов был ясен благодаря его необыкновенно выразительным жестам: с таким видом внезапной боли он отдергивал

руку, обожженную воображаемым огнем, – и с такой гримасой брезгливого отвращения он отбрасывал от себя холодный уголь.

Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз – il palambaro – славный генуэзец, по имени Сальваторе Трама.

На его большом круглом темно-бронзовом лице, испещренном, точно от обжога порохом, черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но благодаря необычайному объему грудной клетки, ширине плеч и массивности могучей шеи производил впечатление чрезмерно толстого человека. Когда он своей ленивой походкой, заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги, проходил серединой набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров как в высоту, так и в ширину.

Сальваторе Трама был приветливый, лениво-веселый, доверчивый человек, с склонностью к апоплексическому удару. Странные, диковинные вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях.

Однажды, во время работы в Бискайском заливе, ему пришлось опуститься на дно, на глубину более двадцати сажен. Внезапно он заметил, что на него среди зеленоватого подводного сумрака надвинулась сверху какая-то огромная, медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь

круглое стекло водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круглого и плоского, как у камбалы, тела, гигантский электрический скат сажени в две диаметром, – вот в эту комнату! – как сказал Трама. Одного прикосновения его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище, точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни.

Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами, брошенными за борт с корабля. Вопреки тяжести, привязанной к их ногам, они, вследствие разложения тела, попадают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не поднимаются вверх, а, стоя, странствуют в воде, влекомые тихим течением, с ядром, висящим на ногах.

Еще передавал Трама о таинственном случае, приключившемся с другим водолазом, его родственником и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, обшаривший морское дно на побережьях чуть ли не всего земного шара. Свое исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как, впрочем, любит его каждый настоящий водолаз.

Однажды этот человек, работая над прокладкой телеграф-

ного подводного кабеля, должен был опуститься на дно, на сравнительно небольшую глубину. Но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал: «Подымайте наверх! Нахожусь в опасности!»

Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившее побелеть его глаза.

Водолаза раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна о другую. Наконец, придя в себя, он сказал:

– Баста! Больше никогда не опускаюсь. Я видел...

Но так до конца своих дней он никому не сказал, какое впечатление или какая галлюцинация так сильно потрясла его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. И в море он действительно больше не опускался ни одного раза...

## 6

Матросов на «Genova» было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка



Коля Констанди бросал им добродушное приветствие:

– Бона джиорна, синьоры. Вино росо...<sup>9</sup>

Должно быть, очень скучно приходилось в Балаклаве этим молодым, веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во многих шумных портах Европейского материка. В море – постоянная опасность и напряжение всех сил, а на суше – вино, женщины, песни, танцы и хорошая драка – вот жизнь настоящего матроса. А Балаклава всего-навсего маленький, тихонький уголок, узенькая щелочка голубого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщин и совсем нет для развлечения бравого матроса. Балаклавские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение – посудачить с соседками у фонтана в то время, когда их кувшины наполняются водою. Даже свои, близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видеться в кофейне или на пристани.

Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе «Genova» был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся Бог весть откуда ве-

---

<sup>9</sup> Добрый день, господа. Красное вино... (итал.)

тер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью. Итальянцы долго не хотели сдаваться: около часа они боролись с ветром и волной, и, правда, страшно было в то время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог одолеть ветра, и его относило все дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху, с Генуэзской крепости, заметили белую тряпку, поднятую на дымовой трубе, – сигнал: «Терплю бедствие». Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, «Слава России» и «Светлана», подняли паруса и вышли на помощь катеру.

Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный.

Иногда при ловле камбалы или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота – тоже вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то – должно быть, тот же знаток итальянского языка, Коля – пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор часто, возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал:

– Эй, итальяно, синьоро! Вот вам на закуску!..

И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и сочно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. Почему знать, может быть, они сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом, и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом...

## 7

Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувные машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удилище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обычно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся Балаклава узнала, что завтра водолаз будет опускаться уже у самых Белых Камней, на глубину сорока сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у Белых Камней уже дожидались почти все рыбацьи

баркасы, стоявшие в бухте.

Сущность изобретения господина Рестуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И, надо отдать справедливость балаклавцам, они не без волнения и во всяком случае с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовления к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего паровой кран поднял и поставил стоймя старинный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, без головы и без рук, футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в который нужно поместить, точно сигару, человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурок за борт, с развальцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления, и надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собою довольно-таки страшное зрелище. Снаружи свободными оставались только руки, все тело вместе с неподвижными ногами было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести; голубой огромный шар, с тремя стеклами – передним и двумя боковыми – и с электрическим

фонарем на лбу, скрывал его голову; подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод, казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необычайной и жуткой эту мертвую голубую массивную мумию с живыми человеческими руками.

Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Станный голубой предмет отделился от палубы паррома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе и медленно, страшно медленно, стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колена, до пояса, по плечи... Вот скрылась голова, наконец ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча, с серьезным видом покачивают головами...

Инженер Рестуччи у телефонного аппарата. Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход каната. Кругом на лодках полная, глубокая тишина – слышен только свист машины, накачивающей воздух, погромыхивание шестерен, визг стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены на то место, где недавно исчезла уродливая шарообразная страшная голова.

Спуск продолжается мучительно долго. Больше часа. Но вот Рестуччи оживляется, несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую коман-

ду:

– Стоп!..

Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна, и все вздыхают, точно с облегчением. Самое страшное окончилось...

Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишен возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед, передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение волей невидимого, таинственного подводного человека.

Через двадцать минут Сальваторе Трама дал сигнал к подниманию. Также медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, то производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны.

Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали и только в знак удивления покачивали головами и, по греческому обычаю,

значительно почмокивали языком.

Через час всей Балаклаве стало известно все, что видел водолаз на дне моря, у Белых Камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким сором, что не было надежды на их поднятие, а от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи «...ск Рг...».

Трама рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбачьих якорей, и это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках...

## 8

Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день Крещения Господня, – день, который справляется в Балаклаве совсем особенным образом.

К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины.

Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение – все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила.

Духовенство вошло на помост деревянной пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань.

Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по неподвижной глади воды.

«Во Иордане крещающуся...» – тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во Иордане». Наконец в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.



В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланаясь. Взбудораженная вода ходила взад и вперед... Потом одна за другой начали показываться над водой мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади.

Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головою:

– Нехорошо... И очень плохо. Что это им – театральное представление?..

Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!

## VIII

# Бешеное вино

В Балаклаве конец сентября просто очарователен. Вода в заливе похолодела, дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим Бог знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными черными ночами. Курортные гости – шумные, больные, эгоистичные, праздные и вздорные – разъехались кто куда – на север, к себе по домам. Виноградный сезон окончился.

К этому-то сроку и поспекает бешеное вино.

Почти у каждого грека, славного капитана-листригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника, – там, наверху, в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным белым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев, правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде «чаус», «шашля» или «Наполеон», продавая их за целебные курортной публике (впрочем, в Крыму в летний и осенний сезоны – все целебное: целебный виноград, целебные цыплята, целебные чадры, целебные туфли, кизилловые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными, бронзовыми, грязными перса-

ми). Остальные владельцы ходят в свой виноградник – или, как здесь говорят, «в сад» – только два раза в год: в начале осени – для сбора ягод, а в конце – для обрезки, производимой самым варварским образом.

Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезонд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пяточок по заливу детей и нянек и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим. Прежде виноград родился – вот какой! – величиною в детский кулак, и гроздь были по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что – ягоды чуть-чуть побольше черной смородины, и нет в них прежней силы. Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойные осенние сумерки около своих побеленных оград, на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю.

Но старый обычай все-таки сохранился до наших дней. Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми первобытными способами, к которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс, опоивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давят прямо ногами, и когда давитьщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехсотлетними грецкими орехами.

Часто я гляжу на это зрелище, и необычайная, волнующая мечта охватывает мою душу. Вот на этих самых горах три, четыре, а может, и пять тысяч лет тому назад, под тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем справлялся всенародно великолепный праздник Вакха, и там, где теперь слышится гнусавый теноришка слабогрудого дачника, уныло скрипящий:

И на могилу приноси  
Хоть трижды в день мне хризанте-е-мы, —

там раздавались безумно радостные, божественно-пьяные возгласы:

Эвое! Эван! Эвое!

Ведь всего в четырнадцати верстах от Балаклавы грозно возвышаются из моря красно-коричневые острые обломки мыса Феолент, на которых когда-то стоял храм богини, требовавшей себе человеческих жертв! Ах, какую странную, глубокую и сладкую власть имеют над нашим воображением эти опустелые, изуродованные места, где когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери.

Но молодому вину не дают не только улежаться, а даже просто осесть.

Да его и добывается так мало, что оно не стоит настоящих

забот. Оно и месяца не постоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело *опомниться*, как характерно выражаются виноделы: оно мутно и грязновато на свет, со слабым розовым или яблочным оттенком; но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую, кислотоватую оскомину.

Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться и в желудке и продолжает там таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать, болтать безудержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хототать, врать чудовищные небылицы. У него есть и еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханджин: если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое вино – «бешеным вином».

Балаклавцы – хитрый народ и к тому же наученный тысячелетним опытом: поутру они пьют вместо холодной воды то же самое бешеное вино. И все мужское коренное население Балаклавы ходит недели две подряд пьяное, разгульное, шатающееся, но благодушное и поющее. Кто их осудит за это, славных рыбаков? Позади – скучное лето с крикливыми, за-

носчивыми, требовательными дачниками, впереди – суровая зима, свирепые норд-осты, ловля белуги за тридцать – сорок верст от берега то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой и никто в баркасе не знает, куда их несут зыбь, течение и ветер!

По гостям, как и всегда в консервативной Балаклаве, ходят редко. Встречаются в кофейнях, в столовых и на открытом воздухе, за городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина. Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и не хватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побранится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутылки мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина.

Кончились запасы – идут, куда понесут ноги: на ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку на 9-ю или на 5-ю версту Балаклавского шоссе. Сядут в кружок среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом расширяющемся кверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка, – а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями и непременно – чтобы все разом. Один подымает чашку и скажет: «стани-ясо», а другие отвечают: «си-ийя».

Потом запоют. Греческих песен никто не знает: может быть, они давно позабыты, может быть, укромная, молчаливая Балаклавская бухта никогда не располагала людей к пе-

нию. Поют русские южные рыбацьи песни, поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого. Лица краснеют, рты широко раскрыты, жилы вздулись на вспотевших лбах.

Закипела в море пена —  
Будет, братцы, перемена,  
Братцы, перемена...  
Зыб за зыбом часто ходит,  
Чуть корабль мой не потонет...  
Братцы, не потонет...  
Капитан стоит на юте,  
Старший боцман на шкафуте,  
Братцы, на шкафу-те.

Выдумывают новые и новые предлоги для новой выпивки. Кто-то на днях купил сапоги, ужасные рыбацьи сапоги из конской кожи, весом по полпуду каждый и длиною до бедер. Как же не вспрыснуть и не обмочить такую обновку? И опять появляется на сцену синее эмалированное ведро, и опять поют песни, похожие на рев зимнего урагана в открытом море.

И вдруг растроганный собственник сапог воскликнет со слезами в голосе:

— Товарищи! Зачем мне эти сапоги?.. Зима еще далеко... Успеется... Давайте пропьем их...

А потом навернут на конец нитки катышок из воска и

опускают его в круглую, точно обточенную дырку норы тарантула, дразня насекомое, пока оно не разозлится и не вцепится в воск и не завязит в нем лап. Тогда быстрым и ловким движением извлекают насекомое наверх, на траву. Так поймают двух крупных тарантулов и сведут их вместе, в днище какой-нибудь разбитой склянки. Нет ничего страшнее и азартнее зрелища той драки, которая начинается между этими ядовитыми, многоногими, огромными пауками. Летят прочь оторванные лапы, белая густая жидкость выступает каплями из пронзенных яйцевидных мягких туловищ. Оба паука стоят на задних ногах, обняв друг друга передними, и оба стараются ужалить противника ножницами своих челюстей в глаз или в голову. И драка эта оттого особенно жутка, что она непременно кончается тем, что один враг умерщвляет другого и мгновенно высасывает его, оставляя на земле жалкий, сморщенный чехол. А потомки кровожадных листригонов лежат звездой, на животах, головами внутрь, ногами наружу, подперев подбородки ладонями, и глядят молча, если только не ставят пари. Боже мой! Сколько лет этому ужасному развлечению, этому самому жестокому из всех человеческих зрелищ!

А вечером мы опять в кофейной. По заливу плавают лодки с татарской музыкой: бубен и кларнет. Гнусаво, однообразно, бесконечно уныло всхлипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив... Как бешеный, бьет и трепещется бубен. В темноте не видать лодок. Это кутят ста-



рики, верные старинным обычаям. Зато у нас в кофейной светло от ламп «молния», и двое музыкантов: итальянец – гармония и итальянка – мандолина – играют и поют сладкими, осипшими голосами:

О! Nino, Nino, Marianino...

Я сижу, ослабев от дымного чада, от крика, от пения, от молодого вина, которым меня потчуют со всех сторон. Голова моя горяча и, кажется, пухнет и гудит. Но в сердце у меня тихое умиление. С приятными слезами на глазах я мысленно твержу те слова, которые так часто заметишь у рыболовов на груди или на руке в виде татуировки:

«Боже, храни моряка».

*1907–1911*

# Винная бочка

В тот год ялтинский сезон был особенно многолюден и роскошен. Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый – самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенно приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные. Они не ездят верхом, не пьют шампанского, не кокетничают с проводниками, селятся где-нибудь над Ялтой: в Аутке, в Ай-Василе, или Дерикое, или в татарских деревушках, и главная их слабость – посылать домой, на Север, открытки с видами Ялты, с восторженными описаниями красот Крыма. На огромных неуклюжих дилижансах «Бибеш» они ездят осматривать окрестности: Лесничество, Уч-Кош, Ай-Петри, Учан-Су, Симеиз, Суук-Су, Гурзуф, Алупку и другие. Местные жители, татары, у которых главное занятие – высасывать кровь из туристов, смотрят на эту публику свысока и обращаются с нею грубо и пренебрежительно.

Само собою разумеется, что шелковый сезон – более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире: многие ездят в горы, верхом, но перед тем как заказать лошадь, довольно-таки долго торгуются. В

городском курзале начинаются балы, а в парке по вечерам играет прекрасный струнный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все нужное и ненужное возрастают вдвое или втрое.

Но бархатный сезон! Это – золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего Крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.

Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты; другие – в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку; а третьи – их большинство – потому, что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства. Природы, конечно, никто не замечает. А надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым, весь в бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный, освеженный волшебным морским воздухом, – поистине прекрасен.

В это время уже не торгуются с татарами, а просто нанимают верховых лошадей и проводника на весь сезон. О ценах никогда не спрашивают. Заказывают заранее по телеграфу несколько комнат в самых шикарнейших отелях и сыплют золото горстями налево и направо с такой милой бесцеремонностью, точно играют морскими гальками.

Вот в один из этих бархатных сезонов, о котором благо-

даря его блеску старожилы вспоминают чуть ли не до сих пор, приехал в Ялту Игнатий Игнатьевич Лешедко, товарищ прокурора из Петербурга, молодой человек, со связями, стоящий уже «на виду» (несмотря на свою молодость, он успел «зафиксировать» тридцать шесть смертных приговоров) и не особенно стесняющийся денежными средствами. По какой-то счастливой случайности ему удалось занять «номер в самой шикарной гостинице – «Россия», – правда на самом верху, но марка отеля чего-нибудь да стоит!

Быстро завязались знакомства. Так быстро, как это бывает только в Ялте: два-три человека, с которыми он встречался в обществе, хотя и мимоходом, один миллионер-золотопромышленник, которого Лешедко прошлой зимой обвинял, – и, надо сказать, совсем неудачно, – знаменитый певец, который хотя при первой встрече и не узнал прокурора, но сделал вид, что очень обрадован, и с милой актерской улыбкой, крепко пожимая руку Лешедко, пропел:

– Ка-ак же, ка-ак же, батенька! Еще бы не узнать. Рад, чрезвычайно рад увидеть вас. Ну, что новенького? Простите, ради Бога: забыл имя и отчество. Ах, да! Ну, конечно, Игнатий Игнатьевич. Я сам хотел так сказать, но, знаете, боязнь перевернуть как-нибудь... неудобно, неприятно.

Были также в Ялте две шикарные петербургские кокотки, знакомые прокурору по «Медведю», «Аквариуму» и «Эрнесту», Манька Кудлашка и Надька Драма. Но с ними он не считал нужным раскланиваться, хотя при встрече всегда бо-

язливо отводил вбок глаза или начинал пристально рассматривать магазинные витрины. Когда же ему приходилось во время случайных встреч быть в присутствии знакомой дамы, он весь замирал и холодел от ужаса. В самом деле, что стоит этим отчаянным существам вдруг крикнуть ему вслед:

– Здравствуй, Игнашка! стыдно не узнавать своих друзей! вспомни, как ты не заплатил Зинке проигранные на пари сто рублей!

А главным образом потому, что в это время он был заинтересован прелестной женщиной, баронессой Менцендорф, вдовой тридцати лет, пышной красавицей, взбалмошной, капризной и ребячливой. Была ли это любовь, – трудно сказать. В душу современных молодых людей, а в особенности товарищей прокурора, делающих большую, видную карьеру, не влезешь. Вернее всего предположить, что была здесь отчасти чувственность, отчасти самолюбивое удовольствие показываться повсюду в обществе блестящей светской женщины, которая своими туалетами от Пакена, именем, эффектной красотой и пленительной, грациозной эксцентричностью завоевала высокое звание царицы сезона, отчасти – кто знает? – и миллионы прекрасной баронессы имели какую-нибудь притягательную силу.

Ежедневно составлялись пикники, кавалькады, поездки верхом или в легоньких колясках-плетенках. Лешедко чувствовал, что на него глядят благосклонно и между ним и баронессой уж как будто наклеивался отдаленный, невинный

флирт. Казалось, судьба явно улыбалась ему, но три вещи смущали прокурора.

Первое – это то, что он плохо сидел на лошади. Стоя на земле, он был не только корректен, но, пожалуй, даже красив: хорошего роста, стройный, в синих тугих рейтузах, в форменной фуражке, в белоснежном коротком кителе, почти открывавшем его зад, с пенсне на носу, со стеклом в руке, которым непринужденно похлопывал себя по лакированным сапогам, со своим выхоленным лицом породистого щенка. Но на лошади он окончательно проигрывал свои внешние достоинства. Еще когда лошадь шла шагом, ему удавалось принять, в подражание знакомым офицерам гвардейской кавалерии, натянутую, но сравнительно приличную посадку. Но когда кавалькада пускалась рысью или галопом, то душа прокурора уходила в пятки, шапка съезжала на затылок, локти болтались, как у деревенских мальчишек, которые скачут в ночное на неоседланных клячах, ноги то уходили по самые каблуки в стремяна, то совсем выскакивали из стремян, и приходилось поневоле хвататься за гриву. «Черт возьми! – думал он в эти тяжелые минуты. – Что за глупость скакать как ошалелые! Спешить нам некуда – над нами не каплет. Положительно, глупая затея!»

Неприятнее всего было то, что баронесса Анна Владимировна бесцеремонно и громко смеялась над его «своеобразной», как она говорила, манерой ездить.

Правда, она же на балах выбирала постоянным кавалером

Лешедко, который, надо отдать ему справедливость, танцевал непринужденно, с большой легкостью и держался чрезвычайно изящно.

Вторая неприятность заключалась в том, что ему никогда не удавалось остаться наедине с прелестной баронессой. Она всегда была окружена молодежью, пожилыми людьми и даже превосходительными старцами, и все это были сливки ялтинских гостей. Как ни старался Лешедко урвать хоть несколько минут тайного и пылкого разговора с Анной Владимировной, – этого ему никогда не удавалось. А третья беда, самая главная, состояла в том, что свита баронессы, рабски послушная ее фантазиям и причудам, вела безумно широкий образ жизни, и за ними поневоле приходилось Лешедко тянуться с таким усердием, что казалось, вот-вот лопнут жилы или кости выйдут из суставов. А сезон между тем крепчал и крепчал, и цена на все поднималась с такой же быстротой, как ртуть в градуснике, который держат над горячей лампой.

«Нет, – размышлял порою Лешедко по утрам, когда пил кофе, просматривал ресторанные счета и занимался отделкою своих ногтей. – Нет, черт возьми! Я иду неправильным путем. Необходимо сделать что-нибудь смелое, героическое, необыкновенное, что всегда так покоряет мечтательное сердце женщины! Но что? Что?»

Однажды утром прибежал снизу мальчишка-комми, в коричневой куртке, сплошь усеянной сверху донизу золотыми

пуговицами.

– Вам записка от баронессы.

Это случилось в первый раз, что Анна Владимировна написала ему.

С некоторым волнением он разорвал длинный конверт с вензелем на левом верхнем углу, потянул в себя, нервно раздувая ноздри, странный волнующий аромат, которым благоухал сложенный вдвое листок бристольского картона с золотым обрезаем, и прочитал следующее:

«Зайдите ко мне на минутку. У меня есть для вас очень интересное предложение».

В гостиной у Анны Владимировны он застал еще одного посетителя, и тотчас же радость его души померкла. Это был самый популярнейший человек во всей Ялте, Яков Сергеевич Калинович, очень удачливый врач, а также прекрасный беллетрист старинной, немного тенденциозной, но благородной школы. Кроме того, это был неутомимый пешеход. Как только у него вырывалось несколько свободных дней, он пускался в путь, шагая такими огромными шагами, что за ним, пожалуй, не угналась бы почтовая лошадь, и на ходу он все время разговаривал сам с собой: «Да. Нет. Глупо. Да. Неправильно. К черту!» И бил при этом палкой по встречным камням.

Благодаря этой страсти к путешествиям он всех знал, и его все знали. На всем Крымском побережье, от Судака до Балаклавы, все уважали его как знающего врача, любили как



честного и душевного писателя, и кто только не передразнивал его манеру заикаться при страстных идейных спорах и при этом вытягивать подбородок из воротника и вылезать руками из манжет.

Он сидел на низеньком мягком пуфе, причем колени его длинных пешеходных ног упирались ему чуть не в подбородок.

Поздоровавшись с Лешедко, с которым он был знаком уже давно, доктор Калинович продолжал начатую речь:

– Значит, вы согласны? Так не будем же откладывать дела в долгий ящик. Почему делать завтра то, что можно сделать сегодня? Кста-ати, я приглашен именно на сегодня. Конечно, вы всегда можете по-по-поехать и сами. Вас, без сомнения, примет все виноделие с распростертыми объятиями и примет, стоя на коленях. Я, если позволите, с удовольствием буду вам сопу-путствовать. Но сегодня совсем исключительное дело. Мне как-то удалось вылечить жену заведующего погребом от довольно тяжелой болезни. С тех пор этот немец раз уже двадцать упрашивал меня поехать в его погреб и осмотреть их. Он все соблазнял меня каким-то необыкновенным вином, оставшимся еще от того времени, когда массандрские винные погреба не принадлежали правительству, а составляли частную собственность. От того времени осталось всего лишь несколько десятков очаровательнейших вин. И в складах виноделия так и называют эту коллекцию «Воронцовский музей». Выпить такого вина считает за гро-

мадную честь самый избалованный дегустатор. Да и помимо того, мы увидим очень много интересного. Ну что же, согласны, восхитительная?

Через час большое общество, кто верхом, кто в экипажах, мчалось по массандрской дороге, поднимая клубы мелкой белой горячей пыли. Дорога шла все время в гору, обрамленная с обеих сторон сплошной изгородью крымских «каменных» дубов, опутанных плющом. В скором времени прибыли в Массандру и въехали в широкий двор виноделия. Их встретили почти все служащие там чиновники удельного ведомства. Популярность Якова Сергеевича и обаятельность баронессы сделали то, что все они наперерыв старались показать компании все, что есть в Массандре достопримечательного: тоннель, проходящий чуть ли не за версту в глубь горы, где температура зимой и летом стоит одинаковая, не колеблясь даже на сотую градуса, полтора миллиона бутылок разных вин, уже вполне готовых для продажи. Они стоят по обеим сторонам тоннеля в виде массивных, бесконечных призм, бочки для купажа, имеющие в себе более тысячи ведер, с днищами в два человеческих роста вышиной. Потом показали им весь сложный процесс мытья бутылок, наполнения, закупоривания, запечатывания, вплоть до наклейки ярлыка; все это быстро, бесшумно, с непостижимой механической ловкостью исполнялось многими десятками работников и работниц, одетых в одинаковые тиковые полосатые передники.

Но, однако, в погребе было сыро и холодно, и баронесса, одетая весьма легко, в полупрозрачное кружевное платье, первая поежилась плечами и попросилась наверх, на солнце.

Тотчас же была устроена дегустация, то есть проба вин, которая всегда происходит в передней комнате погреба. Там стояла приятная прохлада, и южное солнце ласково и весело вторгалось сквозь открытые широкие двустворные двери.

Все уселись вокруг длинного стола. Он вместо скатерти был покрыт сплошным толстым стеклом.

Сначала гостям дали расписаться в огромной посетительской книге, потом началось то священнодействие, которое называется дегустацией.

Надо сказать, что это развлечение принадлежит к числу самых тяжелых и для непривычного человека губительных. Сначала подавали легкое белое вино, потом легкое красное, и не одного типа, а нескольких, затем красное тяжелое и белое крепкое. Потом в таком же порядке следовали вина ароматные, вина типа марсалы, портвейн, херес всевозможных наименований, Asti Spumante мускатное и в заключение ликерные Lacryma Christi и розовая наливка.

У всех в скором времени закружились головы, а главный рабочий (купер), по указанию начальства, таскал все новые и новые бутылки.

Ужаснее всего было то, что к этой чудовищной смеси не подавалось никаких закусок. Хотя бы сыр или орехи! Истинные виноделы презирают эти вещи и называют их прене-

брежительно «бисквитами для пьяниц». Закружились головы даже у самих хозяев, из которых каждый, конечно, считал себя тонким знатоком вин, и заплелись языки.

Они щеголяли перед посетительницами, и уж, конечно, главным образом перед Анной Владимировной самыми удивительными, самыми непонятными характеристиками вин:

– Это вино кулантное. Это вино не успело еще опомниться. Это – вкусовое, а то – больше питьевое. Строптивное вишишко, но ничего – обыграется.

Лафит немножко бесхарактерный, брыкливое вино, обещающее, буржуазное, горьковатое, типа лоз St.-Estephe, и так далее.

В заключение, по таинственному знаку, сделанному старшим виноделом, рабочий отправился куда-то на несколько минут и вернулся с корзинкой, в которой, точно любимый ребенок, покоилась пыльная бутылка. И в самом деле, человек, принесший вино, был похож по-настоящему на старую, заботливую, влюбленную в младенца няньку: так осторожно и плавно он шел, стараясь не делать туловищем ни одного лишнего движения, так благоговейно держал он корзину на полупротянутых вперед руках.

Вино поставили в декантер (род станка, который механически, от вращения рукоятки, опускает горлышко бутылки и подымает ее низ для того, чтобы не взболтать и не замутировать драгоценную жидкость).

– Да, мои господа, – сказал торжественно главный вино-

дел, а кстати, его фамилия была Келлер, – это вино шестьдесят третьего года. Приготовьте ваше внимание.

Но тут произошло нечто невероятное и почти ужасное. Милый, добродушный доктор Калинович вдруг вспомнил те далекие времена, когда он, еще будучи в Москве студентом, пировал в «Праге» и был знаменит тем между товарищами, что безошибочно определял на свет добротность и свежесть пива. Он вдруг выхватил драгоценную бутылку из декантера, схватил ее за горлышко, перевернул вверх дном и стал разглядывать ее на свет с видом знатока. Виноделы, все, как один, закричали от ужаса и негодования; старший рабочий, по-тамошнему купер, застонал, побледнел и закрыл лицо руками. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Но дело все-таки кое-как уладилось. Купера попросили принести новую бутылку, а разболтанную отправить на место, чтобы она там полежала еще лет десять. Вторая бутылка была разлита благополучно, так же как и третья. Вино было совсем светлое, точно в стакане воды раздавили одну или две ягодки малины. Да и пахло оно малиной. Но действие его было смертоносное. Когда кончили четвертую бутылку, то никого из всей компании, кроме впившихся виноделов да Анны Владимировны, не было трезвого.

Впрочем, это слишком мягкое выражение. Вернее сказать, что все были совершенно пьяны и больше всех прокурор.

В это-то несчастное время внимание баронессы привлек-

ла одна из виденных ею раньше тысячеведерных бочек.

Бочка была пуста, и внизу ее днища зияло тьмой правильное квадратное отверстие, шести вершков в высоту и шести в ширину. Баронесса наклонилась к нему и крикнула в бочку:  
– У-у! У-у-у!

И глухой рев, такой, каким, должно быть, ревели на заре человечества диплодоки или ихтиозавры, ответил ей из бочки.

– Скажите, господа, для чего эта дырка? – спросила баронесса.

Виноделы тотчас же услужливо объяснили ей, что сквозь это отверстие пролезает человек, когда является необходимость вычистить бочку изнутри, потому что на внутренних стенках отлагаются осадки слоем до трех вершков.

– Но это же невозможно! – вскричала баронесса. – Я убеждена, что двенадцатилетний мальчик не пролезет в эту щель.

– Нет, отчего же? Трофимов, – крикнул он какому-то рабочему, – полезай!

Долговязый рыжий малый, вовсе уж не худощаво сложенный, неловко вышел вперед, снял пиджачишко и остался в короткой синей рубашке, подпоясанной ремнем, снял ремень, потом нагнулся к дверке, вытянул вперед правую руку и тесно прижал к ней голову и таким образом боком стал протискивать в отверстие сначала руку с головой, потом правое плечо, потом левое плечо с ребрами и так, подобно ужу, минуты в полторы был уже в бочке, а через минуту он вер-

нулся обратно.

Баронесса дала ему золотой и сказала с удивлением:

– Клянусь Богом, я бы никогда этому не поверила, господа!

– Э-тя уд-дивительно, – сказал князь Абашидзе, старинный, безнадежный поклонник баронессы.

– Конечно, никто из вас этого, господа, не сделает, – продолжала баронесса. – Хотите, я обещаю поцелуй тому, кто сделает то же самое?

Лешедко мгновенно сорвался с места, причем его порядком-таки мотнуло в сторону.

– Это сделаю я! – И он с размаху ударил себя в грудь.

– Ах, Боже мой! Но ваш новый, прекрасный белоснежный китель!

– Это пустяки! Впрочем, может быть, дамы позволят мне снять его?

И вот, оставшись без кителя, прокурор так же, как и рабочий, встал на колени перед отверстием, так же тесно прижал голову к вытянутой руке и начал протискиваться в бочку. Вероятно, у пьяных есть какой-то особенный бог, который им помогает. Минут через десять он уже вполз до пояса так, что остались видны только его ноги. Он дрыгнул ими судорожно раз двадцать и исчез из глаз публики. Сначала из бочки ничего не было слышно. Потом раздалось какое-то мрачное, глухое рычание, которое нельзя было слышать без страха. Потом к этим нечеловеческим звукам при-

соединился топот, как будто по мостовой проезжала артиллерия. Баронесса с любопытством приникла ухом к лазейке и сказала с удивлением:

– Знаете что, господа? Он поет кэк-уок и пляшет. А!ю! А!ю! Игнатий Игнатьевич! Хорошо вам там, во чреве кита?

– Бу-у-у! – пронеслось из бочки.

Лицо старшего винодела вдруг сделалось серьезным.

– Однако, знаете, господа! Пора, пожалуй, прекратить эту шутку. Лучше выпить десять бутылок вина, чем надыхаться этими спиртными испарениями. Ведь там, кроме винного угара, нет ни одного клочка свежего воздуха.

Он подошел к отверстию и крикнул:

– Послушайте, как вас? Ваше благородие! Однако вылезайте! Как бы с вами чего худого не случилось. Нам придется отвечать. Приз свой вы заслужили, ну и довольно. Да вылезайте же, черт вас возьми! Или я прикажу вас вывести насильно!

Из квадратной лазейки показалось бледное, вспотевшее лицо Лешедки. Пенсне на носу уже не было, а глаза смотрели мутно, раскосо и бессмысленно... А ртом он ловил воздух, как судак, извлеченный из воды. Язык его бормотал что-то бессмысленное, не имеющее ничего общего с звуками человеческой речи.

– Да слушайте же, несчастный человек! Вытяните вперед руку, прижмите к ней поближе голову. Теперь протискивайтесь!



Прокурор, которому еще говорил инстинкт, попробовал это сделать, но застрял теменем в отверстии, – ни взад, ни вперед!

С большим усилием винодел и купер, наконец, вытащили его до шеи, но дальше они не могли ничего поделывать. Воротничок, галстук, великолепные, шитые золотом подтяжки мешали ему двинуться хоть на дюйм вперед.

– Ай! Черт!.. Вы мне руку оторвете! – закричал жалобно прокурор.

– В таком случае нам остается только одно, – посоветовал кто-то многоопытный и сообразительный, – пусть рабочий влезет и попробует его протиснуть сзади.

– Эй вы, Диоген! Ступайте назад. Трофимов! Полезай в бочку и помоги барину выбраться.

Рабочий с прежней быстротой и ловкой неуклюжестью исчез в лазейке. Вскоре опять на свет Божий показалась плачевная физиономия, с помутившимися от страха и опьянения глазами и с красной ссадиной поперек лба. По-прежнему купер и винодел потянули его за руку и за голову. Истязуемый прокурор истерически визжал. По-видимому, он совсем лишился дара человеческой речи. Да и сказывалось ужасное опьянение винными испарениями. Он настолько ослабел и размяк, что не только ничем не мог помочь усилиям своих спасителей, но, наоборот, тормозил их.

– Тащи его назад, Трофимов! – в бешенстве закричал винодел. – Тащи назад сейчас же! Да дергай же, тебе говорят!

В третий раз скрылся прокурор в глубокой мгле бочки.

Винодел крикнул в окошечко:

– Раздевай его! Слышишь! Что? Да говори же ясней!.. Ну да, раздевай совсем догола!

И вот из темного квадрата, точно в силу какого-то волшебства, полетели галстук, воротник, панталоны, лакированные сапоги...

– Я предложил бы дамам удалиться, – посоветовал кто-то из посетителей.

Те послушались и вышли на свежий воздух. Зрелище становилось страшным. Вслед за ними вышли и дамские кавалеры.

Когда виноделы, рабочие и доктор остались одни, то они перестали церемониться с телом бедного Лешедко. Но и раздетый буквально догола, он ни за что не хотел вылезать из бочки.

– Господа, – сказал серьезным тоном доктор. – Я не позволю в моем присутствии мучить человека. Будьте осторожнее.

– Стойте! – закричал купер. – Я придумал: смажем мы его машинным маслом. Грищенко! Беги ко мне на квартиру, принеси машинное масло. Да живо! Смотри, как бы наш барин не окоchureлся в самом деле.

Принесши масло, сунули его в лазейку Трофимову, и долго было слышно из бочки чье-то кряхтение, чьи-то взвизгивания и шлепки по голому телу. Наконец, в четвертый раз

показалась из бочки голова прокурора, еще более беспомощного, чем раньше.

Но машинное масло и дружный натиск трех раздраженных этой нелепой историей людей сделали свое дело. Вытащенный до поясницы, прокурор выскочил из бочки, точно пробка из бутылки с теплым шампанским.

Ах, если бы многочисленные преступники, которых прокурор в свое время закатал на каторгу и в арестантские роты, видели его в эту минуту! Они прониклись бы к нему жалостью. Еле стоявший на ногах, голый, весь блестящий от масла, весь в ссадинах и кровоподтеках, с головой, беспомощно склоненной на правый бок, пахнувший нефтью, он в эту минуту был поистине достоин сожаления. Даже виноделы почувствовали к нему сострадание. Они быстро достали откуда-то простыни, мохнатые полотенца и половики, вытерли и высушили бедное, израненное тело прокурора, заботливо одели его, смыв с костюма винные пятна, и бережно снесли до экипажа.

Оказалось, вся компания, кроме доктора, уехала, оставив друзьям, однако, на всякий случай экипаж. Ввалившийся в него прокурор тотчас же заснул в материнских объятиях Якова Сергеевича и так и не просыпался до самой Ялты.

А наутро, весь разбитый, со страшной головной болью, терзаемый жгучим стыдом и муками похмелья, он собрал свои вещи, расплатился и сел на первый попавшийся пароход, который отходил...

Впрочем, не все ли равно теперь было товарищу прокурору Лешедко, куда отходил его пароход?

*1914*

# Гусеница

Не особенно давно, весной прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу – фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая развертывалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах, словно нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни Февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака.

Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филлоксере. Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа. «Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Кон-

стантиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и – взгляните – какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным второстепенным будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, – потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше на суровое, неженское дело, на смертный путь, на Голгофу».

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво:

– Да, это так. Я в партии собственно не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя неиссякаемая святая теплота. Я замечал,

что бесчестный человек, лжец или трус не выдерживал и на секунду их прозрачного тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, овладевает не так, как мужской душой, частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыкновенной земной тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое деятельное сострадание подняли всего на минуту ее душу к небесам. Хотите расскажу? Это коротко.

Так вот: время действия – осень 1905 года, место – Южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, недалеко от Севастополя. Теперь там большой приморский и виноградный курорт, а тогда это дело только еще начиналось, но все-таки было в поселке пять кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко вроде сарая, трое докторов, больница, аптека, фотография, два училища, почтовое отделение, библиотека... вот, кажется, и все.

К осени все виноградные большие разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, да мы – случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоесть друг другу, но все-таки сходились, распивали чай,

шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух, как новость, содержание передовиц из либеральных газет – словом, делали все, что полагается русским передовым человеком, томящимся в собственном соусе.

Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель... Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги, налопаются белого вина, как лошади, и ходят гурьбой, обнявшись, по набережной и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон:

Ах, зачем нас забрали в солдаты,  
Посылают нас на Дальний Восток?  
Неужели мы в том виноваты,  
Что вышли ростом на лишний вершок.

Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал и потому весь был пропитан едкой и нетерпеливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым.

Особняком держалась его жена, Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но



совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распусте-  
ха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет нико-  
гда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым  
неприкрытым образом...

Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою  
внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторо-  
нных, высмеивал беспощадно... Надо сказать правду,  
нехорошо это у него выходило. И все из-за пустяков. Скуча-  
ла очень Ирина Платоновна на юге, изнывала вся, особенно  
когда задувал на неделю ветер монтано; места себе, бывало,  
не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке.  
Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи: «У нас, гово-  
рит, в Зарайске, крыжовник теперь поспел, большущий та-  
кой да мохнатый. Его хорошо в сиропе из вишневых листьев  
варить». А Борис усмехнулся криво, одной щекой и съехид-  
ничал: «Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжов-  
никовая *abraxas grossulariata*. Вот ты кто». Зло это было ска-  
зано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко.  
Так заочно и звали ее Гусеницей. Конечно, в добром смысле.  
Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет: «А как наша добрая  
Гусеница поживает?» И правда, была она самого ангельского  
характера. Вспоминаю я ее живо: всегда в широком капоте,  
с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно  
стеарином закапан. И всегда она, с утра до вечера, теряла и  
искала свои ключи. «Ах, куда я мои ключи девала? Господа,  
не видал ли кто, куда я ключи положила?» Но замечательно

вкусно кормила. Такой кефали, жаренной на шкаре с помидорами, я никогда не ел.

Так-с. А тут пошли большие события. Началась всероссийская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре конституцию объявили: куценькую, правда, лживенькую, но и то, какие упования были! Да и все это время... я про теперешнюю революцию ничего не скажу... дело веселое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!..

Вдруг вспыхнуло восстание в Черноморском флоте, шмидтовские дни... Потом расстрел «Очакова». Канонада и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили. По морю гулко звук идет, а дни стояли безветренные.

А на другой день после «Очакова» Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Мурузов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота – все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул: «Это товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это мои приятели, люди порядочные, на них

можно положиться...»

Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на «Очакове», как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели живо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться – вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь неподалеку спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. «И затем скройте их на несколько дней, рассейте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте! Думайте! Шевелите головами, товарищи! Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дела выше головы».

И уехала. Ах, какая умница она была, какая прелесть, какая отреченная от себя, какая повелительная! Другая ее партийная кличка была «Конфетка». Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк.

Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия собственно не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел, пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..

– Трус, не прячься за угол, – твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь – не надо, тебя никто не осудит, ты – человек больной. Но молчи, ради Бога, молчи и не стыди ты меня!

Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей». Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов прокли-

наете в тряпочку? А «Вставай, подымайся» напеваете шепотком? Ну вот вам поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему! От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка».

Потом она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачивать. Трех она направила в больницу, тогда, по счастью, пустовавшую, двух – к фотографу, а пятерых на время приютила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, кряжистый, но очень уже они были изнурены: глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвижный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно было, что все они мыслю, воображением еще там, в огне, в ночном море, близко, близко от смерти.

Они сидели за непокрытым столом, а мы жались вокруг растерянные, неумелые, какие-то деревянные, неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словесный диспут на тему – кто кого главнее, эсдэки или эсеры, и кому из них человечество обязано черноморским восстанием, – глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят и молчат и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем.

Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! «Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребяташки, тяпнем после трудов праведных». Кто-то было захотел возмутиться: «Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве». Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления. А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжите, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало.

А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке пароконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на плантаж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да,

вероятно, это так всегда и бывает: когда человека обуяла и точно электричеством его переполнила великая, самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и события. Не правда ли?

Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь, как бутылка к горлышку, сужался к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городской Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через тридцать шагов, справа от шоссе, находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель. Он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно, как в прописи».

Ирина Платоновна и я проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь. Мы остановились тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора «Василь-Дере» и расслышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью. Было холодно. Трава обиндевила и торчала белой жесткой щетиной.

Ирина Платоновна одного за другим молча перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженные головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее ли-

цо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека, и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовниковая!

И, замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку – брат. Одно море их просолило.

Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаки, завел с ним тонкий, ухищренный разговор. Он-де матрос с «Очакова», тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей... Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги. И сказал после долгой паузы:

– Дурак. Штаны надел навывпуск, а нашпорники забыл.



# Шторм<sup>10</sup>

Когда миновали Евпаторию, поднялся ветер, вскоре перешедший в настоящий шторм. Пароход «Св. Николай», эту старую калошу, мотает с борта на борт и с носа на корму. Всех пассажиров укачало. Все умирают; одни умирают в салоне, другие в каютах, третьи в коридорах. Единственная неприятная сторона морского пути.

Один только маленький, очень юркий человек не теряет присутствия духа. Он вытащил всю свою семью на палубу, вместе с подушками и одеялами. Семья – человек из восьми, от старых: тещи и мамыши – до грудного младенца. Все они, кроме младенца, лежат покотом и стонущими голосами, на чем свет стоит, ругают старательного маленького главу семьи.

А он так трогателен! Ведь и его самого берет проклятая морская болезнь.

Но он держится героически. Вот что-то приказала ему предсмертным голосом одна из толстых старух, и он стремглав летит зигзагообразно к трапу, мгновенно проваливается в нутро парохода, так же быстро показывается на палубе и, едва успев бросить семье какие-то шарфы и теплые платки, вихрем несется к борту. Там он секунды на две перегибает-

---

<sup>10</sup> Из «Рассказов в каплях».

ся через букочый поручень в виде вопроcительного знака и уже опять cпешит к милой семье, встречающей его горькими упреками за то, что он ее постоянно покидает. Затем его поcылают за лимоном, затем за валерьянкой. Затем, как некий жонглер, он приносит две рюмки коньяка, стараясь не расплескать. Ах! он совсем бы был готов забыть о себе, если бы не эта всемогущая власть моря, которая ежеминутно и беспощадно напоминает о себе и все-таки не в силах сокрушить воли этого пигмея.

У него простое, доброе, веснушчатое лицо. Я думаю, что он, не задумываясь, бросился бы за борт, чтобы спасти утопающего, и в панической толпе сумел бы сохранить ребенка. Энергия и прелесть характера создали бы ему тихую уютную жизнь и мирный отдых в старости. Но всю жизнь свою он обречен провести, подобно выючному верблюду, с мозолями на всех сочленениях, питаюсь чертополохом и бранью.

# Сильные люди<sup>11</sup>

Четыре часа свежего розового утра. Я вижу из открытого окна, как выходит на добычу одна из моторных лодок, принадлежащих рыбакам. Слежу ее путь. Вижу, как она остановилась и как через ее накренившийся борт шлепается в море якорь, огромный камень. И тотчас же, медленно подвигаясь, начинают рыбаки «сыпать сети». Поплавок за поплавком ложатся ровно на воду, обозначая тонким четким пунктиром правильную линию. Потом другой камень-якорь и крутой поворот под безукоризненно верным прямым углом, и еще раз, и еще, и вот я вижу удивительную трапецию из черных точек на фаянсово-блестящей синеве моря, трапецию, от изящества которой придет в восторг самый строгий геометр. И какое меткое выражение «сыпать сети».

Это искусство кажется издали совсем пустячным, однако оно дается годами упорной, постоянной работы. Нет. Вернее сказать: оно наследие тысячелетнего опыта далеких предков.

Почти во всякой вольной работе на чистом воздухе есть своя точность в простом свободном движении, свой ритм, своя красота и своя безусловная грация. Мало кто обращал внимание на то, например, как потомственные огородники и садовники «пикируют» молодые растения, то есть переса-

---

<sup>11</sup> Из очерков «Мыс Гурон».

живают из парника в грунт. Надо поглядеть на щегольскую аккуратность их грядок и на математическую стройность, с которой они, без помощи линейки или нити, втыкают осторожно в эти гряды, ряд за рядом, нежные хрупкие ростки.

Видели ли вы, как зимою, в лесу, распиливают на доски продольные пильщики огромные сосновые бревна вершков двенадцати – шестнадцати – двадцати в поперечнике? Бревно положено на высокие козлы. Вверху на бревне стоит старший пильщик; внизу, под бревном на земле, – младший. По этому расчету можно судить, как необыкновенно велика продольная пила. Пилят они ритмически, то сгибаясь, то выпрямляясь, поочередно. Верхний движется вперед, едва заметно, по-медвежьи переступая ногами в мягких лаптях, нижний – пятится задом, причем его голова, лицо, борода и вся одежда сплошь засыпаны желтоватыми древесными опилками. В этой работе все удивительно: и, больше чем цирковая, ловкость старшего, безусловно балансирующего по круглой поверхности, и терпение младшего, и сверхъестественный глазомер обоих, и замечательная точность и гладкость их распилки – куда машине, – и ловкость и непринужденная гибкость их движений.

Работа их весьма тяжела: это правда. Минут через десять после начала они сбрасывают с себя зипуны, потом поддевки, потом жилеты и остаются в одних ситцевых рубахах. Мороз, хотя и небольшой – пятнадцать градусов, но продольным пильщикам жарко, они вспотели, и белый пар валит с

них, как от почтовых лошадей. И, как лошади, ржут соседние пары, когда кто-нибудь рядом запустит крутое соленое словцо. Они никогда не простуживаются, никогда не знают усталости, вид у них всегда бодрый, крепкий и веселый, походка грузна, но легка, точно у медведя, а каждый мускул и нерв слушаются их воли мгновенно. Их труд свободен – они не знают над собою ни погонщика, ни указчика, ни советчика. Прежде чем приступить к работе, артельный староста – суровый, но милостивый диктатор – долго, зуб за зуб, торгуется с хозяином: по сколько с хлыста (хлыст – каждое прямое дерево) в зависимости от его диаметра и по сколько за каждую доску такой или иной ширины и длины. А уже после рукобития и литок артель вникала в работу с той яркой жадностью, какая была всегда свойственна бережливому скопидому, русскому мужику-собственнику.

В еде себя не резывали. Харчились за плату у тех же лесников, у которых и ночевали безвозмездно. Тогда бывало жутко и подумать, какое мотовство: на своих чае-сахаре артель платила за обед и ужин, страшно подумать, по полтиннику с едока! В то время, в 1897 году, полтинник за целый рабочий день считался высокой ценой, а в городских трактирах за десять копеек подавали жирные щи с убоиной и хлеба – сколько съешь; ломоть жареной печенки стоил две копейки и копейку на чай. «Шестерка» низко кланялся, подметая грязной салфеткой пол.

Ну и ели же продольные пыльщики...

Ели истово, медленно, в молчании (шутки полагались только в конце обеда, за пузатым самоваром). Ели так, что радостно на них было смотреть, несмотря на то, что рассудок опасно беспокоился за их утробы...

И все-таки я услышал, как однажды днем, в отсутствие артели, Марья, жена лесника Егора, пиявила мужа:

– Ты уж, Егор, там как хочешь, а я в будущий год харчить твоих продольных пильщиков не согласна. Больно емкие. Люты на еду.

Вот вам и начало той свободы, того веселья и той размашистой «красоты, с которыми ходят и работают продольные рязанские пильщики: первое – сыты; второе – работают только на себя: больше распилят хлыстов – больше получают; третье – труд их протекает весь день в лесу, где только сосна и снег; и последнее, – но оно же и главное, – честь и репутация артели. Та артель, о которой я говорю, артель Артема Ванюшечкина, славилась не только в Рязани, но и среди крупных московских лесопромышленников. При такой лесной известности как же можно лицом в грязь ударить? Да и зарабатывали они по три целковых в день.

Я прошу у читателей прощения в том, что мой скромный рассказ невольно выпучился далеко в сторону, в милую северную страну, хотя, наверное, в ней уже давно продольные пильщики вывелись из быта в расход. Что поделаешь? Маленькие буржуи! Кулаки!

Конечно, нигде так ярко не проявляется естественная красота человеческого тела и его движений, как в национальных танцах и играх, пока они не обездушены пародией и модой, да еще в деловом обиходе морских людей.

К счастью, притворяться таким старым, просоленным всеми ветрами мореходом можно только на суше. Тут все проглотят доверчивые люди: и хриплый от команды голос, и походку раскорякой, и вечную короткую трубку с крепчайшим табаком в углу рта, и поминутные плевки за воображаемый борт, и рассказы о свирепых тайфунах в Индийском море или о безумно отчаянном повороте на бейдевинд, когда шхуна чуть не налетела на неожиданный коралловый риф. Его слушают развеса уши.

Но стоит такому отважному морскому волку очутиться хотя бы на палубе парохода, идущего только от Одессы до Ялты, как морской волк быстро превращается в мокрую курицу. Это еще не беда, что его начинает тошнить уже в гавани. Настоящие моряки к этой слабости относятся более чем снисходительно. Ведь известно, что самого великого, величайшего из адмиралов, Нельсона, укачивало даже при легком шторме и что в морской битве при Трафальгаре Нельсон до такой степени страдал морской болезнью, что велел привязать себя к мачте и так, стоя, командовал всем флотом и выиграл бой. Беда в том, что сухопутный моряк подвержен самой трусливой мнительности. Он приходит в ужас, когда судно замедлит или ускорит ход, или когда оно дает своим

ревуном сигнал далеко мимо проходящему кораблю, или когда винт, выйдя на волне из воды, вдруг застрекочет сухо. Он заранее выбирает для себя спасательный пояс и шлюпку на случай крушения. Он лезет со своими страхами, опасениями и мрачными предположениями решительно ко всем: к пассажирам, лакеям, горничным, он подымается за советами и утешениями даже к дежурному помощнику капитана в священную рубку, и молодой моряк, быстро спроваживая его вниз, на палубу, ощупывает свой правый задний карман брюк и думает: «Вот за такими надо внимательно следить. Если, спаси Бог, случилась бы катастрофа, первые они мастера возбуждать панику».

Но пристальный взгляд пассажира, часто и далеко плававшего, или мгновенный взгляд опытного морехода всегда сумеют отличить настоящего моряка от самозванца. Здесь есть ряд примет более или менее объяснимых. У пожилых, очень многое в жизни испытавших капитанов навсегда остаются в лице и в фигуре знаки воли и власти. Их глаза под тяжелыми веками чуть прищурены: это глаза людей, привыкших подолгу и напряженно вглядываться в даль. В их легких морщинах на висках и вокруг глаз, а особенно в улыбке чувствуется не то спокойное усталое презрение, не то снисходительная ирония.

Молодые высокомерные офицеры, старые сутулые матросы, бочкообразные боцманы и стройные юнги имеют также свои особые явные и тайные приметы во взглядах и движе-



ниях, в постановке головы и в походке. Но уловить их – дело навыка и инстинкта. Интереснее всего следить за моряками во время серьезной и спешной работы в море. Вот где соединяются сила и ловкость, спокойствие и быстрота, суровая дисциплина с внешней беззаботностью, где краткий приказ влечет мгновенное исполнение и где вся кипящая жизнь переполнена суровой, простой, не сознающей себя красотой.

Подобно тому как на моряках, так общий профессиональный отпечаток лежит и на рыбаках – не скажу всего мира, но по крайней мере всей белой расы. Недаром давным-давно и очень метко сказано: «Рыбак рыбака видит издалека». Конечно, в каждой стране есть своеобразные обычаи и приметы, но есть и много общего: беспечность, простодушие, приметы, суеверия, предрассудки, зоркая наблюдательность, острое чутье к погоде, щедрость к бедным, разгул в кутеже и прочее... Замечательно одно явление: все рыбаки – страшные ругатели и богохульники, но все они одинаково почитают святого Николая Чудотворца, и все они убеждены, что их промысел самый святой, ибо Иисус Христос избрал своих первых апостолов из среды рыбаков. С ними могут соперничать лишь плотники, по той причине, что отрок Иисус учился плотничьему мастерству у св. Иосифа, да еще пасечники, потому что восковая свеча горит перед святыми алтарями.

Когда-то, давным-давно, так давно, что теперь мне порою кажется, будто это было, по ядерной русской поговорке, «в

те времена, когда люди еще топоров не знали, а пальцем говядину рубили», – полюбилось мне каждую осень до ранней зимы болтаться с балаклавскими рыбаками по Черному морю.

Был я тогда еще молод, достаточно силен и вынослив, мог грести без устали и умел, еще по военному навыку, беспрекословно подчиняться приказанию старшего на баркасе. Вскоре балаклавские рыболовы со мною освоились и как бы усыновили меня. Я до сих пор горжусь тем, что иногда, в полосы обильных уловов, когда не хватало рыбацких рук, ко мне приходили с просьбой войти в артель. Я с удовольствием входил. По окончании ловли мне за это полагался один пай, а когда я завел трехстенные сети, так называемые «дифаны», то и два пая: один за греблю, другой за снасть. Там пай распределялись строго: атаману два пая, владельцу баркаса один, владельцу снасти – один, рядовым работникам по паю. Сообразно с этим и делили выручку. Я свою долю не брал, а если случался хороший улов, то во славу его вел всю артель в кофейню Юры Капитанаки и угощал ее черным кофеем (две копейки чашка), а в случае же улова превосходного – даже с сахаром (три копейки).

Милые мои греки от удивления перед таким кутежом значительно почмокивали и покачивали головами, и я думаю, они считали меня за человека не совсем нормального. Однако же один из участников южной белой армии передал мне недавно, что при крымской операции довелось ему попасть

в Балаклаву и там старый седой рыбак, Коля Констанди, мой бывший строгий учитель и суровый атаман, вспомнил в разговоре мою фамилию. Эта честь меня глубоко тронула.

Мы рыбачили разными способами в юго-западном углу Черного моря, между мысами Херсонес, Феолент Саленгос, Кристи, Айя, Ласпи и Форес. Мы ловили камбалу, глосов, камсу, морского петуха, скумбрию, кефаль, лобана, барабулю и однажды случайно поймали полуторапудового белужонка на перемет для камбалы. Глубокою зимою не редкость вытащить белугу в десять пудов весом, а значительно реже попадается белуга и до сорока пудов.

Но на эту зимнюю ловлю мне ни разу не приходилось выходить.

Я думаю, теперь понятно, с каким нетерпением и с какими великими надеждами ехал я на юг Прованса в Ля Фавьер, в милую для меня теперь, издали, рыбачью хижину на мысе Гурон. По прежним воспоминаниям мечтал я, что есть у меня какое-то рыбье слово для рыбаков и что совсем не трудно мне будет освоиться с провансальскими рыбаками, ибо души всех рыбаков одинаково несложны и широко открыты.

Увы! Я не учел того, что, кроме рыбачьих жестов и приемов, кроме магнетического взаимного тяготения рыбачьих сердец, существуют еще два разговорных языка, совсем неизбежных для первого знакомства, но и совсем не похожих один на другой: провансальский и русский. Да ведь и надо, пожалуй, с огорчением признать и то, что с годами и с

жестокими испытаниями судьбы вянет и потухает в человеке дар того бескорыстного, инстинктивного очарования, которое столь легко и весело сближает людей... Спрашивается: какими же путями мог бы я наладить связь с местными рыбаками? Русские обитатели с ними знакомства не водили, не интересовались. Правда, еще в Париже слышал я об одном русском молодом человеке, который сумел пленить души льяфавьерских рыбаков и заключить с ними тесную морскую дружбу. Был он родом из Сибири, и, конечно, его, как почти всех сибиряков, звали Иннокентием. Провансальские рыбаки называли его фамильярно и ласково: Jnnocent. В этом названии есть двойной смысл: если его употреблять с большой буквы – получается почтенное христианское имя, а если с маленькой, то выходит нечто вроде как «простак», или «рубаха-парень», или еще – «малый простыня». И правда: был он всегда добродушен, ровен, ласков со всеми, радостно готов на товарищескую услугу и, кроме того, оказался настоящим соленым моряком, способным на все роды ловли, неутомимым, смелым, находчивым и со счастливою рукою. Рыбаки искренне к нему привязались и возлюбили его. Эти люди сурового и тяжелого промысла, в котором нет ни капли лжи, обладают тонким и дальним чутьем на того двуногого, чье имя «человек» пишется с большой буквы, и невольно тяготеют к нему.

Но, к своему и моему огорчению, этот милый Иннокентий, или Кена, как звали его дома, вскоре был принужден

оставить свои прекрасные морские приключения. Причина этому была очень простая и очень настоятельная. Кому не известно, как широко гуляют рыбаки всех стран и всех морей; гуляют и на радостях после большого улова и от огорчения за неудачу. У Иннокентия же был в гульбе размах особенно широкий, сибирского стихийного размера. Сам он совсем ничего не пил, но без счета поливал шампанским пронзительные «буйабезы», которые по ночам при свете костров варились на безлюдных маленьких островах. Словом, прожился вдребезги милый Иннокентий Алексеевич. Конечно, он мог бы поступить в рыбный кооператив, его приняли бы охотно, но где же свобода? Итак, простившись без вздоха с друзьями-рыбаками, он бросил рыбацью увлекательную жизнь и теперь где-то в департаменте Вар, в никому не ведомом Ля Фугассе, режет, поливает, взрывает и опрыскивает виноградники. Конечно, Кена когда-нибудь вернется снова к морю. Кто знал однажды прихоти моря, его чудеса и радости, его гнев и сладкую ласку, тот уже пленник моря навеки. Оно притягивает к себе моряков, как луна влюбленных. Недаром море и месяц – близкая родня друг другу.

А я пока что потерял умного проводника и руководителя. Вот и осталось мне только одно сомнительное удовольствие: глядеть из окошка на рыбную ловлю.

Что говорить! Очень хороший народ провансальские рыбаки: красивые, стройны, ласковы, ловки, мужественны. Но

гляжу я на них из моего окошка, вспоминаю далекое-далекое прошлое, ревниво сравниваю славных провансальских рыбаков с моими балаклавскими листригонами, и – что поделаешь – сердце мое тянется к благословенному Крыму, к сине-синему Черному морю.

Пусть я – человек отсталый, но вот не нравятся мне моторные лодки – и конец. Какая прелесть были черноморские парусные баркасы или турецкие, банабакские фелюги! Как изящны были плавные изгибы их линий! Как сладко и весело волновал сердце момент выхода в открытое море! Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно отыскивая ветер. Нашел – и мгновенно со звуком лопнувшей струны весь наполняется ветром и становится во всей своей белизне и благородной выпуклости похожим на божественную грудь молодой прекрасной женщины.

Баркас накренился набок. Журчит вода под килем. Пена плещет через борт. Дрожит туго натянутый шкот, рвется вперед парус. Баркас живет всем своим телом и нервами. Он одушевлен.

А в моторной лодке нет души. Только воняет бензином и в своем противном стрекотании подражает цикадам. Море же не любит ни свиста, ни праздного шума.

Во мне говорит завистливое чувство, подобное тому, какое испытывает мальчишка, которого не приняли в игру. Замолкаю. В будущем году осенью поеду на мыс Гурон (если доживу) и свяжусь с провансальскими рыбаками. Они ми-

лые, добрые и сильные люди.

# Гранатовый браслет

*L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2).  
Largo Appassionato.*

## I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегаёт по ним в подкованных сапогах; вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбацких баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.



Обитатели пригородного морского курорта – большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, – поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессиленных лошадях, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина.

Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, ставших к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

## II

Кроме того, сегодня был день ее именин – семнадцатое сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо вышло, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратить на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему,

едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, сэкономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой – наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали – в третий раз за это лето – бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры – Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хо-

зьяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-каreta, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая – Анна, – наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, – лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой жен-

ственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей – мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры – та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она

обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

### III

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! – говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. – Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь – и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе – резедой.

Вера ласково усмехнулась:

– Ты фантазерка.

– Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий – вот тот, что пишет мой портрет, – согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

– Художник – твое новое увлечение?

– Ты всегда придумаешь! – засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего

глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

– У, как высоко! – произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. – Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

– Анна, дорогая моя, ради Бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

– Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость – просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом – такими они казались маленькими, – неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми строй-

ными парусами.

– Я тебя понимаю, – задумчиво сказала старшая сестра, – но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

– Чему ты? – спросила сестра.

– Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады – как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше – море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось – я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мне все это надоел. Каждый день видим».

– Благодарю за сравнение, – засмеялась Вера, – нет, я



только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

– Мне все равно, я все люблю, – ответила Анна. – А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

– Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, – очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

– Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и поцеловала сестру. – Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

– В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот

молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать – листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он Бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

– Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? – спросила она.

– Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

– Как странно, – сказала Вера с задумчивой улыбкой. – Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet<sup>12</sup>. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый

---

<sup>12</sup> Записная книжка (франц.).

полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

– Ты велишь здесь накрывать? – спросила Анна.

– Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

– Будет кто-нибудь интересный?

– Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

– Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна и всплеснула руками. – Я его, кажется, сто лет не видала.

– Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать – и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе – ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов – заказал знакомому охотнику – и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной – увы! – неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

– Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

– Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с боль-

шой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

– Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, – сказал он с особенной поварской гордостью. – Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, – сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. – Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масло?

– Делай, как знаешь. Ступай! – приказала княгиня.

## IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны, с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой – за задок экипажа. В левой руке он держал слу-

ховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, выдавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя-полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

– Точно... архиерея! – сказал генерал ласковым хриповатым басом.

– Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном легкого упрека. – Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

– Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, – засмеялась Анна. – Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

– Девочки... подождите... не бранитесь, – говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. – Честное слово... докторишки несчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то

грязном... киселе... ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидеться... Как прыгаете?... Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

– Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

– Не отчаивайся... все впереди... Молись Богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Постоите-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

– Я уже давно имел эту честь! – сказал полковник Понамарев, кланяясь.

– Я был представлен княгине в Петербурге, – подхватил гусар.

– Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время – как и до сих пор – он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обо-

жали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, – неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, – черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позо-



вут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, – сказал он, – но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877–1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован, или, как он сам выражался, кончил только «медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, – это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог сво-

им влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. – должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали

от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл

об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

## V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городской, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по

словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» – хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой – сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось – тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват – ничего не сказал по телефону».

Когда у Шеиных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, – тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы во второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте

не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста – двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

– Что такое, Даша? – с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. – Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

– Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, – залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. – Он пришел и сказал...

– Кто такой – он?

– Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный.

– И что же?

– Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

– Подите догоните его.

– Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

– Ну хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:



«Ваше Сиятельство,

Глубокоуважаемая Княгиня Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната – зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку

или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

*Г. С. Ж.»*

«Показать Васе или не показать? И если показать – то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после – теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

## VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

– Так нельзя! – сказала с комической обидчивостью Анна. – Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей – Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, – были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские во-

сточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

– Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, – весело говорила Анна, шуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза. – Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что закончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

– На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мажурке? – вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

– Благодарю... Но самое, самое мое больное место – это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

– О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

– Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим

приютить этих несчастных детей, с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

– Гм!..

– ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними – ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, – так можете представить – они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово – и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

– Анна Николаевна, – серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. – Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

– Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурина домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю

любовных походов храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николая Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

– Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, – говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. – Часть первая – детство. «Ребенок рос, его называли Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

– Никогда меня никто не называл Лимой, – засмеялась Людмила Львовна.

– Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —  
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот – критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юн-

кер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний  
провороня,  
И вот за нами вслед ужасная погоня...  
Как хочешь с ней разделявайся ты,  
А я бегу в кусты!

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

– Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, – объяснял серьезно Василий Львович. – Текст еще изготавливается.

– Это что-то новое, – заметил Аносов, – я еще этого не видал.

– Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

– Лучше не нужно, – сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения.

– Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно

так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии – она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, poste restantё»<sup>13</sup>. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью, – говорит он, – но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я – увы! – я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеять-

---

<sup>13</sup> До востребования (искаж. франц. *poste restante*).



ся над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера по-забывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами...

– Господа, кто хочет чаю? – спросила Вера Николаевна.

## VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие

звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахи острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Romard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства.

– Да-с... Осень, осень, осень, – говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. – Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

– И пожили бы у нас, дедушка, – сказала Вера.

– Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цве-

ток не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

– Спасибо, Верочка. – Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

– Пришли мы, помню я, в Бухарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» – спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще по крайней мере на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

– Дедушка, скажите откровенно, – попросила Анна, – скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

– Как это странно, Анночка: боялся – не боялся. Понятное

дело – боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает: отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

– Расскажите, дедушка, – попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу.

– Рассказ очень короткий, – отозвался Аносов. – Это было на Шипке, зимой, уже после того как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

– Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, – сказала пианистка Женни Рейтер. – Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

– О, наш дедушка и теперь красавец! – воскликнула Анна.

– Красавцем не был, – спокойно улыбаясь, сказал Аносов. – Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Бухаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, – остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачною водою, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! – это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу – пла-

менно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

– Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? – спросила пианистка.

– Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

– Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? – заметила Анна, лукаво смеясь.

– Нет, нет, – роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Бухаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор, каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все дневные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

– И все? – спросила разочарованно Людмила Львовна.

– А чего же вам больше? – возразил комендант.

– Нет, Яков Михайлович, вы меня извините – это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

– Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю – любовь это была или иное чувство...

– Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

– Право, не сумею вам ответить, – замялся старик, поднимаясь с кресла. – Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся – и вижу, что я уже развалина... Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь... Гусар, – обратился он к Бахтинскому, – ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

– И я пойду с вами, дедушка, – сказала Вера.

– И я, – подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

– Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

## VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

– Смешная эта Людмила Львовна, – вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. – Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться... Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

– Ну как же это так, дедушка? – мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. – Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

– Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит



– грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконикие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь – за дверями этикие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну дай вам Бог... Смотри только береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава Богу, что детей не было...

– Вы простили им, дедушка?

– Простил – это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не

осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

– Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

– Ну, хорошо... скажем – исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, – я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде

иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почему знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

– Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо спросила Вера.

– Нет, – ответил старик решительно. – Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... так... какая-то кислота... одна жалость... Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

– Прошу вас, дедушка.

– Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к лю-

дям, страсть к разнообразию. Вдобавок – морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим – все равно в будущем считай его погибшим. Это – штамп на всю жизнь.

К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий.

А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем – «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то мавку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обрато возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу –

вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом – и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

– Ох, какой ужас! – воскликнула Вера.

– Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Остаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... Стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж – ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двухмужественном браке – точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было

совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, – нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится – уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный – он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились.

Но *она* велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, – как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штосс. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

– Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любя-

щих?

– О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается – и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлеченя. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви – единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

– О, конечно, конечно, бабушка...

– А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как пре-

зренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

– Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

– Разве вам интересно, дедушка?

– Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

– Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался *Г. С. Ж.* Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, – о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно



(кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на Пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а – почему знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

– Анночка, я захватил твои вещи. Садись, – сказал он. – Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?

– Нет уж, спасибо, мой милый, – ответил генерал. – Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, – говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пытящим автомобилем.

## IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

– Я давно настаивал! – говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. – Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребяташки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

– Переписки вовсе не было, – холодно остановил его Шен. – Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

– Я извиняюсь за выражение, – сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

– А я не понимаю, почему ты называешь его моим, – вста-

вила Вера, обрадованная поддержкой мужа. – Он так же мой, как и твой...

– Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, – так это только о добром имени Веры и твоём, Василий Львович.

– Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, – возразил Шеин.

– Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

– Не вижу, каким способом, – сказал князь.

– Вообрази себе, что этот идиотский браслет... – Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, – что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там – глядишь – сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князя Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

– Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! –

воскликнул Василий Львович.

– Я тоже так думаю, – согласилась Вера, – и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

– О, это-то совсем пустое дело! – возразил пренебрежительно Николай Николаевич. – Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

– Ге Эс Же.

– Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

– Что ты думаешь сделать? – спросил князь Василий.

– Что? Поеду к губернатору и попрошу...

– Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

– Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне

приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

– Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера.

– И правда, Вера, – подхватил князь. – Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам пойду к этому... юноше... хотя Бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую, строгую нотацию.

– Тогда и я с тобой, – быстро прервал его Николай Николаевич. – Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои, – он вынул карманные часы и поглядел на них, – вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

– Мне почему-то стало жалко этого несчастного, – нерешительно сказала Вера.

– Жалеть его нечего! – резко отозвался Николай, обращаясь в дверях. – Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести

его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

## Х

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

– Подожди немножко, – сказал он шурина. – Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо от какой-то болезни, туловищем.

– Господин Желтков дома? – спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

– Дома, прошу, – сказала она, открывая дверь. – Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз по-

стучал.

– Войдите, – отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине – стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

– Если не ошибаюсь, господин Желтков? – спросил высокомерно Николай Николаевич.

– Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

– Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь.

– Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

– Благодарю вас, – сказал просто князь Шеин, разглядававший его очень внимательно.

– Merci, – коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. – Мы к вам всего только на несколько минут. Это – князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия – Мирза-Булат-Тугановский. Я – товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

– Я к вашим услугам, ваше сиятельство, – произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич:

– Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, – сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. – Она, конечно, делает честь вашему вку-



су, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

– Простите... Я сам знаю, что очень виноват, – прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. – Может быть, позвольте стаканчик чаю?

– Видите ли, господин Желтков, – продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. – Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

– Да, – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

– И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя – согласитесь – это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли?

– Да.

– Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? – кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что повторяю – я сразу угадал в вас благородного человека.

– Простите. Как вы сказали? – спросил вдруг внимательно

Желтков и рассмеялся. – Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

– Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? – обратился он к Шеину. – Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

– Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, – с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. – Врываться в чужое семейство...

– Виноват, я вас перебыю...

– Нет, виноват, теперь уж я вас перебыю... – почти закричал прокурор.

– Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

– Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

– Слушаю, – сказал Шеин. – Ах, Коля, да помолчи ты, – сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. – Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

– Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета была еще большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключение меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

– Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, – сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

– Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

– Идите, – сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

– Так нельзя, – кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. – Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

– Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И, правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. – Подумав, князь сказал: – Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

– Это декадентство, – сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестяли и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с большой, нервной чуткостью это понял князь Шеин.

– Я готов, – сказал он, – и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие – это я вам говорю, князь Василий Львович, – видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

– Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, – закричал Николай Николаевич.

– Хорошо, пишите, – сказал Шеин.

– Вот и все, – произнес, надменно улыбаясь, Желтков. – Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как

будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

– Оставь меня, – я знаю, что этот человек убьет себя.

## XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и на толкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому са-

ду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», – вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего бра-

та, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *«Дасвятится имя Твое»*.

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? – ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Конечно. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на



бетховенских квартетах, – так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, ор. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

*Г. С. Ж.»*

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

– Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

– Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

– Он умер? – спросила Вера.

– Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Пони-

маешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

– Вот что, Васенька, – перебила его Вера Николаевна, – тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

– Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

## XII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

– Кого вам угодно?

– Господина Желткова, – сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм – шляпа, перчатки – и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

– Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, трата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот – семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался

мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.

– Я друг вашего покойного квартиранта, – сказала она, подбирая каждое слово к слову. – Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

– Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья – прислуга – приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

– Расскажите мне что-нибудь о браслете, – приказала Вера Николаевна.

– Ах, ах, ах, браслет – я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай – так он и сказал: милый обычай – вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

– Вы мне его покажете? – спросила Вера.

– Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Прошу, прошу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона.

– Если прикажете, пани, я уйду? – спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

– Да, я потом вас позову, – сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви – почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мерт-

вещи, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

– Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» – он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

– Покажите, – сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. – Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком: «L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

### ХІІІ

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

– Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, – и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: *«Да святится имя Твое»*.

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою – одна молитва: *«Да святится имя Твое»*.

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. *«Да святится имя Твое»*.

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я уйду один, молча, так угодно было Богу и судьбе. *«Да святится имя Твое»*.

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *«Да святится имя Твое»*.

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою – слава Тебе.

Вот она идет, все умиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахла звезда табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидела княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах. – Что с тобой? – спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взвол-

нованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

– Нет, нет, – он меня простил теперь. Все хорошо.